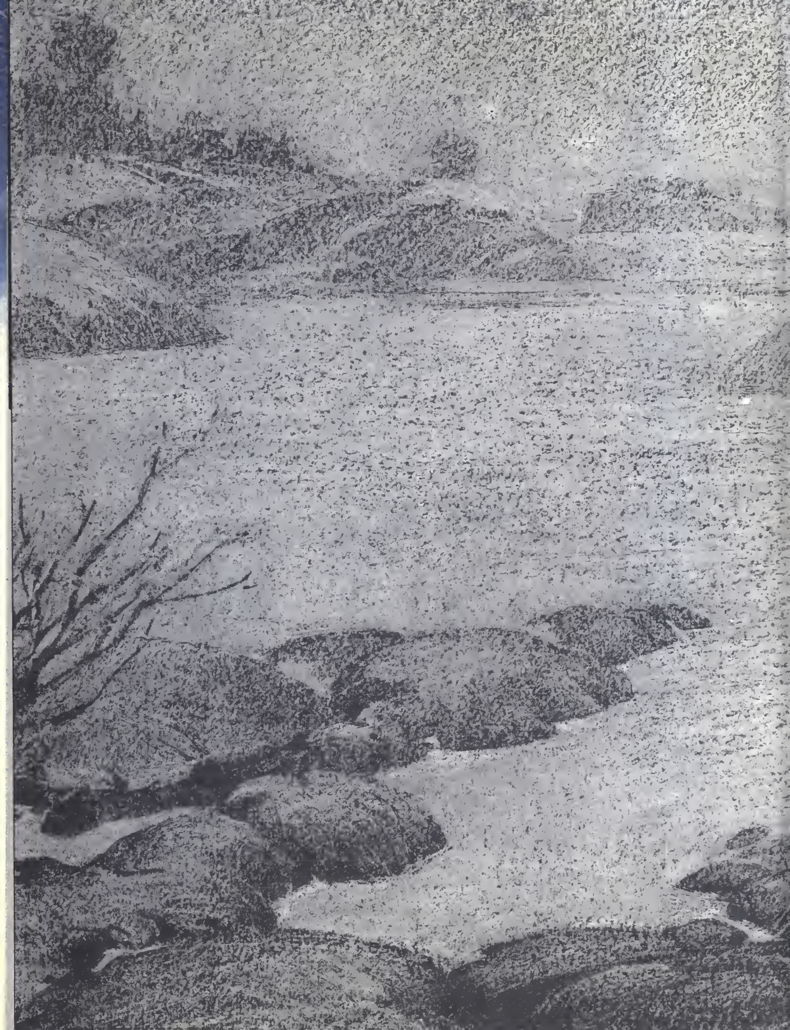
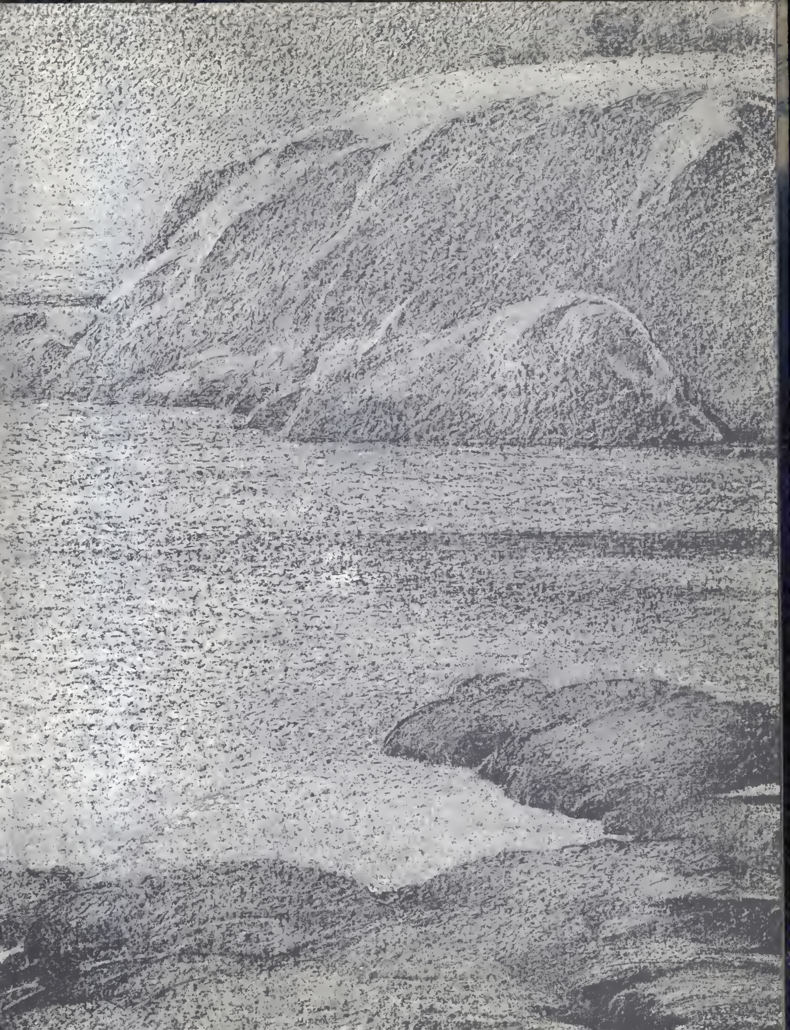

ЗОЯ
ВОСКРЕСЕНСКАЯ
Сквозь
ледяную
мглу
Д









РИСУНКИ И. ИЛЬИНСКОГО

ЗОЯ ВОСКРЕСЕНСКАЯ

Ледяную мглу

РАССКАЗЫ

МОСКВА „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА" 1983

13.5
В76

К читателю

Отзывы об этой книге просим присылать
по адресу: 125047, Москва, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.

В $\frac{4803010101-401}{М101(03)83}$ Без объявл.

Дорогие читатели!

Перед вами книга рассказов о жизни Владимира Ильича Ленина и Надежды Константиновны Крупской в годы первой русской революции.

Писательница не ставила перед собой цели всесторонне отобразить жизнь и деятельность Владимира Ильича в период 1905—1907 годов. В рассказах «Под именем Карпов», «Домик на скале», «Сквозь ледяную мглу» показаны лишь отдельные эпизоды из жизни и революционной деятельности В. И. Ленина.

Все, о чем здесь написано, почерпнуто автором из бесед со многими людьми, имевшими счастье видеть и быть близкими Владимиру Ильичу и Надежде Константиновне. Это старые большевики-питерцы, тогдашние студенты, рабочие, учителя, рыбаки — русские, финны, шведы.

Перу писательницы З. И. Воскресенской принадлежат известные произведения: книга «Повести и рассказы о Ленине», повесть «Сердце матери» — о Марии Александровне Ульяновой и семье Ульяновых, повесть «Надежда» — о детстве и революционной юности Надежды Константиновны Крупской, «Слово о великом Законе» — о новой Конституции СССР, «Дорогое имя» — о Коммунистической партии, о Ленине, повести и рассказы об октябрятах и пионерах разных поколений — «Девочка в бурном море», «Ястребки» и другие.

По повестям З. И. Воскресенской поставлены кинодилогия «Сердце матери», «Верность матери», кинофильм «Надежда», получившие широкое признание у нас и за рубежом.

Писательница Зоя Ивановна Воскресенская — лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола.



Под именем Карпов



БЕССОННАЯ НОЧЬ

Ветер ворвался в Летний сад, сдернул снеговые шапки с мраморных фигур, взъерошил сугробы на аллеях и покатил клубы снежной пыли через Фонтанку. На Пантелеймоновской улице раскачал фонарь, и узкий луч света, пробегая по церковной стене, вырвал из темноты буквы, начертанные древнеславянской вязью: «Сей храм воздвигнут в царствование императора Петра Великого».

На колокольне церкви святого Пантелеймона зазвонил колокол. Эхом откликнулись часы в столовой.

Надежда Константиновна отняла от книги зажатую в пальцах булавку и прислушалась.

— Восемь... девять... десять...— шепотом считает она.— Десять часов. Скоро должен вернуться Ильич.

И снова под быстрыми пальцами замелькали буквы. Кончик булавки на мгновение прилипает к бумаге и, отрываясь с легким треском, перелетает от строки к строке. Большие, чуть близорукие глаза напряженно следят за булавкой. Получат товарищи эту книжку с ярко раскрашенной обложкой, просмотрят на свет страницы и по еле заметным наколотым точкам выпишут буквы. Буквы расположат по шифровальной таблице и прочтут ленинский наказ: изучить опыт борьбы прошлого, 1905 года, снова уйти, где надо, в подполье, готовиться к новым боям.

В дверь постучали.

Надежда Константиновна проворно приколола булавку к блузке, подперла голову руками и погрузилась в «чтение».

— Войдите!

В дверь бочком вошла хозяйка и с елейной улыбочкой осведомилась, не угарно ли, не желает ли квартирантка чая — самовар только что вскипел.

— Благодарю,— отвечает Надежда Константиновна, закрывая книгу.— Я подожду мужа. Он пошел к приятелям сыграть в преферанс.

Хозяйка проверяет, хорошо ли задвинута вьюшка в печке, и с любопытством смотрит на книжку.

— «Ожерелье испанской королевы»,— читает она.— Наверное, весьма занимательная вещица, не одолжите ли почитать?

Квартирантка с сожалением отказывает — завтра утром должна вернуть эту книжку знакомой даме и сама спешит ее закончить.

Хозяйка вздыхает:

— Жаль! — Но уходить не собирается. Ей скучно, и она не прочь поболтать.— До чего фамилия у вас завидная, Прасковья Евгеньевна. Я уж думала, вы и впрямь приходитесь дочкой Евгению Онегину. Но моя кузина высчитала, что Онегину было бы сейчас лет сто, а ведь вам всего лет тридцать пять, не более. Да и не дал бы, я думаю, Евгений Онегин своей дочери такое простонародное имя — Прасковья.

— Да, да, конечно,— спешит согласиться Надежда Константиновна.

— Околоточный рассказывал,— продолжает хозяйка,— что сам

пристав интересовался, откуда завелась у него в околотке дочка Онегина. Околоточный даже и не слыхал, что жил на свете знаменитый Евгений Онегин.

— Я тоже не слыхала, что он жил. Это пристав выдумал,— говорит Надежда Константиновна и с тревогой думает, что по такому паспорту долго не продержишься. Угораздило же товарищей добыть ей паспорт на имя Прасковьи Евгеньевны Онегиной. И вот теперь эта дотошная барынька проявляет такое опасное любопытство...

Хозяйка собирается еще что-то спросить, но понимает, что разговора не получится, и так же бочком, бесшумно выползает из комнаты.

Надежда Константиновна вновь принимается за работу.

Письмо закончено. Поднеся раскрытую книжку совсем близко к лицу, она придирчиво просматривает страницы, ощупывает строчки. Сделано хорошо, охранка едва ли сможет обнаружить наколотые страницы. Надежда Константиновна прячет законченную работу в ридикюль.

Теперь надо разобрать и прочитать прибывшую почту. Она достает письма из глубоких карманов длинной суконной юбки, внимательно прочитывает каждое. Отдельные куски заучивает наизусть для Ильича, заучивает как в детстве, закрыв глаза, чуть шевеля губами.

Одно письмо привлекает ее особое внимание. Дата в углу — «Февраль 1906 года» — подчеркнута волнистой чертой. Это условный знак: письмо содержит тайнопись. «Придется опять гладить блузку»,— усмехается Надежда Константиновна, прячет письма в карманы: прочитанные в левый, непрочитанные — в правый, и идет на кухню.

Услужливая хозяйка сама накладывает в утюг древесные угли, зажигает пучок сухих лучинок и ставит утюг в печную отдушину.

— Вы слыхали,— говорит она злопыхательно,— в нашем доме власти только что забрали двух курсисток... Социалисточки! Подумать только, какие бесстыжие! Поскорее бы расправились со всеми этими смутьянами, тогда бы нам, честным людям, жилось спокойнее.

— Сомневаюсь, что нам от этого легче будет,— замечает Надежда Константиновна и изо всех сил дует в поддувало утюга.

— Уверяю вас, мадам, можете не сомневаться!

Надежда Константиновна забирает утюг, сквозь круглые отверстия которого светятся разгоревшиеся угли, наливает чашку чая из остывшего самовара и, пожелав хозяйке спокойной ночи, уходит к себе в комнату.

Дверь запирает на крючок. Прежде всего надо спрятать заметки Ильича к съезду. Жандармы могут припожаловать и сюда, а рукопись во что бы то ни стало надо сохранить...

В ридикюле у нее всегда несколько книг для зашифрования писем, для хранения рукописей. «Хранилища» они изобрели вместе с одним партийцем — переплетчиком.

Надежда Константиновна берет книгу Свифта «Гулливер в стране лилипутов», осторожно отдирает золоченый коленкор с переплета и вытаскивает толстый картон. Вместо картона вкладывает рукопись Ленина, приклеивает коленкор и прячет книгу в ридикюль. Теперь рукопись в безопасности.

Она стелит на столе полотенце, поверх кладет письмо, расправляет его и легонько прижимает горячий утюг к листку. Еще и еще раз. И вот теперь цифры еле заметными ржавыми точками проступают между строками письма.

«Какой же ключ к этому шифру? Дата подчеркнута волнистой чертой... Ах, да! «Горные вершины спят во тьме ночной...»

Надежда Константиновна — секретарь Центрального Комитета партии. Она держит связь с многочисленными организациями, и ей надо многое помнить: десятки ключей к шифрам, рецепты тайнописи, многочисленные адреса явочных квартир, пароли, псевдонимы... И все это хранить в памяти — бумаги могут подвести.

Товарищи пишут из Сибири. В далекую ссылку приходят тягостные вести. Московское Декабрьское восстание потерпело поражение. Подавлены восстания рабочих в Нижнем Новгороде, в Перми, пала «Новороссийская республика». Революция докатилась до Сибири. В Красноярске и Чите власть перешла в руки Советов рабочих депутатов. Но и там выступления рабочих были жестоко подавлены. «Значит, революция разбита? Все потеряно? Существует ли еще партия?» — спрашивают товарищи.

Надежда Константиновна понимает, что люди теряют перспективу и, что еще страшнее, теряют веру в победу. Надо немедленно ответить. Она утюжит серенькую блузку, отделанную черной тесьмой,— чтобы хозяйка утром увидела ее наглаженной — и думает над ответом.

Письмо получается большое. По внешнему виду оно пустяковое, домашнее, цензура на него не обратит внимания. Но между его строчками химическими чернилами написано многое... Революция, дорогие



товарищи, не закончилась. Пролетариат не сложил оружия, в деревне продолжаются крестьянские волнения, неспокойно и в армии, особенно на флоте. Партия продолжает работу. Партия существует и погибнуть не может. Никогда! Нет такой силы, которая могла бы уничтожить партию пролетариата, так же как нет силы, которая смогла бы погасить солнце. Ильич не сомневается в революционной способности рабочего класса довести борьбу до конца...

Часы в столовой ударили один раз. Больно сжалось сердце. Сколько это может быть? Половина первого? Час? Половина второго? «Наверное, только половина первого»,— утешает себя Надежда Константиновна. Сегодня у Ильича жестокая схватка с меньшевиками. Обсуждается вопрос: как привлечь мужика к революции, может ли рабочий класс повести за собой крестьянство.

Владимир Ильич все утро готовился к этой схватке. Разойтись должны не позднее одиннадцати, но его нет. Видно, опять увязались за ним шпики и он кружит по улицам, чтобы оторвать «хвост»...

«Придет, с минуты на минуту явится». Надежда Константиновна спускает за шнур висячую лампу, прикручивает фитиль и задувает

огонь: хозяйка не должна знать, что она не спит, окно в комнате не должно светиться в поздний час.

Из черной пасти неба сыплет и сыплет снег, покрывает улицу белым пологом.

С визгом пронеслись мимо дома санки. Проскакал полицейский патруль.

Прислонившись к косяку окна и закрыв глаза, Надежда Константиновна вслушивается в звенящую тишину...

Под самым окном по скрипучему снегу чьи-то быстрые шаги. Она не открывает глаз — это не он, не его шаги. Его шаги она узнает из тысячи.

«А ведь Володя ушел без теплого жилета»,— вдруг вспоминает Надежда Константиновна и подходит к шкафу. Осторожно открывает дверцу — чтобы не скрипнула — и шарит в темноте руками. Нащупывает пушистую, мягкую шерсть — этот жилет она купила ему два года назад в Женеве. «Как это я просмотрела? — досадует она.— На улице такой сильный мороз».

Мысли все тревожнее, сердце бьется беспокойнее.

«Надо переключиться на что-нибудь другое, думать о радостном...»

Восемь лет назад она поехала с матерью в село Шушенское, к Владимиру Ильичу, отбывать вместе с ним и свою ссылку. Очень волновалась. Больше всего боялась первой минуты встречи. Везла ему в подарок керосиновую лампу под зеленым абажуром и страх как берегла, чтобы не разбить в дороге. Все шесть тысяч верст в руках везла.

В майский солнечный день преодолели последний этап пути. Сошла с повозки торжественная, с лампой в руках. В избах распахнулись окна, и во всех окнах любопытные лица. Только в доме Зыряновых окна были закрыты. Всеведущие мальчишки сообщили, что Владимир Ильич ушел на охоту и будет поздно вечером.

Было немножко неловко и ужасно смешно: невеста приехала, а жениха дома нет. Виноват же во всем был Енисей — взломал льды, разлился весенним морем, вот и сидели с мамой у этого моря и ждали, пока оно в речные берега войдет...

Вечером спрятались в комнате хозяев, узлы и корзины сдвинули в угол и накрыли рядном. Владимир Ильич взбежал на крыльцо, распахнул дверь и остановился, вглядываясь в загроможденный угол. Подошел хозяин и что-то стал объяснять.

Надежда Константиновна стояла за перегородкой затаив дыхание. Потом не выдержала, вышла на цыпочках в комнату и закрыла ему глаза ладонями. «Надюша!» — прошептал он радостно...

Часы пробили пять раз. Пять часов утра. Неужели арестован? Надо ждать, терпеливо ждать, уговаривает она себя и снова вспоминает.

...Вечером на следующий день собралась вся шушенская компания: ссыльные Оскар Энгберг и Проминский со своим многочисленным семейством.

Владимир Ильич зажег лампу под зеленым абажуром и все время поглядывал на нее.

Надежда Константиновна рассказывала о Питере. Потом пели песни. Владимир Ильич попросил ее почитать стихи. Как хорошо в тот вечер звучали знакомые с детства стихи Мицкевича:

Ну, руку в руку! Шар земной
Мы цепью обовьем живой!
Направим к одному все мысли и желанья,
Туда все души напряжем!
Земля, содвинься с основанья!
На новые пути тебя мы поведем...

Бьет церковный колокол.

Ему вторит звон часов в столовой.

Надежда Константиновна мысленно обходит явочные квартиры и места ночевок, куда бы мог пойти Ильич. Отовсюду дали бы знать. Значит...

«Да нет же, нет! — отмахивается она от мрачных мыслей.— Напрасно беспокоюсь. Мало ли что могло задержать... Придет и подробнейшим образом «доложит», как разбивал доводы Мартова и Дана, и с каким волнением при голосовании чуть ли не вслух считал поднятые руки, и как обрадовался, увидев, что его резолюция получила большинство».

Холодный рассвет заползает в комнату, окрашивает все в мертвенно-серый цвет. Заскрежетала лопата дворника по мерзлой панели. Послышались первые звонки конок. Квартира оживает. Слышно, как кухарка шлепает босыми ногами по крашеному полу, гремит самоваром. Хозяйка что-то сердито выговаривает домочадцам. По квартире разносятся утренние запахи — от лучинок, которыми разжигают самовар, гуталина, туалетного мыла.

Прошлась по комнате, невзначай глянула в зеркало и нахмурилась: за ночь осунулась и побледнела. «Так не годится»,— попрекает она себя и идет умываться. Холодная вода освежает.

«Ждать буду до девяти, а потом поеду к Книпповичам, посоветуюсь, как быть»,— решает она. Выпивает холодный чай, покрывшийся сизой дымкой, вырывает из тетради лист бумаги и, постукивая пером о стеклянное дно чернильницы, думает над содержанием записки.

Аккуратным, четким почерком пишет: «Ушла к подруге, буду после двенадцати. Не скучай». Откалывает от блузки булавку, которой ночью шифровала письмо, и прикрепляет записку на видном месте к тюлевой занавеске. Это больше для любопытной хозяйки, чем для Ильича. Она уже понимает: Ильич сюда больше не придет.

В окно шлепаются снежки. Один, второй, третий. Кто-то бросает их меткой рукой.

— Кто это? Неужели он? — шепчет Надежда Константиновна и, еле сдерживая стремительный шаг, идет открывать дверь в подъезде.

Пальцы липнут к железу — видно, сильный мороз — и не справляются с толстым крюком.

— Сейчас, сейчас,— говорит она, обжигая пальцы о железо.

Наконец крюк отброшен, она распахивает дверь: на пороге парнишка в куртке не по росту, в треухе, за плечами на палке болтается пустой мешок.

— Старье берем, шурум-бурум принимаем,— блестя темными глазами, произносит заученные слова парнишка. Заметив озабоченный вид Надежды Константиновны, он спрашивает: — Не помните? Я — Ромка, Ястребок. Я вас знаю, вы в Подвижном музее работаете.

— Тс-с-с! — прикладывает к губам палец Надежда Константиновна.— Проходи в комнату.

Ромка сбивает с валенок снег и идет за ней.

— Конечно, я сразу тебя узнала, Роман. Случилось что-нибудь? — не может скрыть тревоги Надежда Константиновна.

— Да вы не беспокойтесь,— чуть слышно говорит он,— дядя Ефим велел сказать, что все в порядке. И письмо вам есть. В валенке. Сейчас достану...— Ромка снимает с ноги огромный подшитый валенок.— Вот,— протягивает он слегка измятый и теплый конверт.

Непослушными пальцами Надежда Константиновна отрывает кромку конверта, вытягивает небольшой листок.



— «Уважаемая Прасковья Евгеньевна! — читает она.— Погода у нас прескверная. Пришлось покупать новые валенки, чтобы не отморозить ноги. Очень беспокоимся о Вашем здоровье. Ждем Вас сегодня к нам. Привезите с собой синюю с белым хрустальную вазу»... Синюю с белым хрустальную вазу...— повторяет Надежда Константиновна, и Ромка видит, как радостно засветились ее глаза.

«Какое счастье,— думает она,— жив, не арестован. Слежка была упорная. Пришлось скрыться в Финляндию... Ждет меня на даче «Ваза».

— Спасибо, дружок, спасибо,— пожимает она мальчику руку.— Как ты добрался сюда? «Хвост» за собой не заметил?

— Что вы? Разве я маленький? — отвечает Ромка.— С «хвостом» я бы сюда не пришел.

Надежда Константиновна достает из дорожной сумки книгу «Ожерелье испанской королевы».

— Передай Ефиму Петровичу. Сейчас же. А вот эту возьми себе.— Она протягивает Ромке книгу в красном переплете, украшенном цветами и фигурками. В золотом кругу крупными буквами вытиснено: «Сочинение Жюля Верна. Таинственный остров».

Ромка полистал книгу и прижал ее к себе — картинок в ней много, и все такие занимательные!

— Интересная?

— По-моему, очень интересная книга. В детстве я прочла ее два раза подряд не отрываясь.— Надежда Константиновна довольна, что подарок понравился.

— Насовсем? — с надеждой спрашивает Ромка.

— Да, да, конечно.

Мальчик осторожно засунул обе книги за пазуху.

— Спасибо, я побежал,— вдруг заторопился он.

— Тебе спасибо,— отозвалась Надежда Константиновна.— Передай привет Ефиму Петровичу, скажи, что вазу привезу сегодня же.

Ромка уходит. Надежда Константиновна укладывает в саквояж вязаный жилет Владимира Ильича, серенькую блузку, отделанную черной тесьмой, и разную мелочь.

«Вот и все наше имущество,— думает она.— Хорошо! Вещи приковывают человека к месту, мешают чувствовать себя свободным».

* * *

Надежда Константиновна вышла из поезда на станции Куоккала. Ослепительно сияло солнце, отраженное в снегах. По дымчатому снежному полю до леса яркой белой лентой вьется тропинка. Сверху сыплется сверкающая пыль инея. Вокруг потеплевших стволов деревьев голубые лунки — предвестники весны.

В лесу притаилась тишина.

Небольшой деревянный дом, укрытый под мохнатыми соснами, выглядит сегодня нарядно: шапка снега над башней-верандой и нависшие над окнами снежные карнизы придают ему сказочный вид.

Владимир Ильич увидел Надежду Константиновну из окна и вышел ей навстречу.

— Наконец-то! Ты волновалась, не спала? — заботливо спрашивает он.

— Нет, нет, спала, как сурок. Рано утром меня разбудил Ромка, принес письмо от Ефима Петровича. Я все знаю.— Надежда Константиновна прислушалась.— У тебя уже народ?

— Да, работаем над тактической платформой к съезду. Заходи, поможешь.

Надежда Константиновна вынула из сумки Свифта.

— Здесь твои заметки.

— В Гулливере? Очень кстати.

Владимир Ильич провел Надежду Константиновну в столовую.

Она хотела остаться незамеченной и присела на свободный стул в углу комнаты, но ее окружили товарищи, шумно приветствовали.

Она не любила быть в центре внимания, стеснялась, сердилась на свою застенчивость и от этого смущалась еще больше. Владимир Ильич пришел ей на выручку.

— Итак, продолжим,— пригласил он товарищей.— Мы пришли с вами к выводу, что главной политической задачей пролетариата, нервом всей его работы, душой всей его организационной классовой деятельности должно быть доведение до конца демократической революции. Отсюда главная политическая задача партии — подготовка сил и организация пролетариата к вооруженному восстанию...

Владимир Ильич поднялся из-за стола, провел ладонью по темени снизу вверх и, подняв руку, восхищенно воскликнул:

— За пролетариатом поднимется широкая народная масса, и эти силы доведут до полной победы буржуазно-демократическую революцию, они откроют эпоху социалистического переворота на Западе. Каково? — рассмеялся он счастливым смехом.— Подумайте только, товарищи, ведь теперешнее мрачное спокойствие — это затишье перед бурей. Контрреволюция торжествует. Но конец этого торжества близок. Над миром поднимается красная заря, грядет пролетарская революция, и она победит, непременно победит, товарищи... Ну-ну,— остановил он весело зашумевших товарищей,— немножко помечтали, хорошо помечтали, а теперь давайте рассмотрим нашу следующую резолюцию — об отношении к Государственной думе... Думу мы признаем не парламентом, а полицейской канцелярией и отвергаем какое бы то ни было участие в комедиантских выборах... Здесь нам тоже придется подраться с меньшевиками...

Питерские большевики сидели за большим обеденным столом, покрытым суровой скатертью. Перед каждым — тетрадь с записями. Подготовка к Объединительному съезду в полном разгаре. У рабочего класса должна быть единая партия с единой программой действия — программой большевиков.



ГОСТИ

ладимир Мартынович пришел с работы чем-то озадаченный и смущенный. Это не укрылось от зоркого глаза матери, которая, как всегда, встретила сына в передней.

Он поцеловал матери руку и стал сосредоточенно очищать веничком снег с воротника пальто и котелка.

Виргиния Карловна стояла перед ним с полотенцем в руках.

— Нагнись, Вольдемар, я вытру тебе лицо и очки, ты совсем мокрый.

Владимир Мартынович покорно склонил голову. Виргиния Карловна, приподнявшись на цыпочки, осторожно сняла запотевшие очки и протерла в них стекла.

Высокий, сутуловатый Владимир Мартынович беспомощно смотрел на мать. Без очков он не видел даже ее лица.

— Мой милый, большой ребенок,— вздохнула Виргиния Карловна, вытирая жестким полотенцем мокрые щеки сына.— У тебя опять какая-то сложная задача, но ты мне расскажешь, когда хорошенько поешь. Обед готов.

Виргиния Карловна, маленькая, очень полная женщина с пышным валиком седых волос вокруг головы, быстро и легко сновала из кухни в столовую и обратно. Владимир Мартынович вымыл руки и сел за стол. Мать заправила ему за ворот салфетку и насыпала в тарелку розовых шуршащих креветок.

— Сегодня опять два чемодана «тетушек» принесли,— сказала мать,— я велела поставить их за фисгармонию.

— Лучше бы под мою кровать,— возразил он.

— Бомбы под твою кровать! — всплеснула руками Виргиния Карловна.

— Да, от глаз подальше. И это вовсе не бомбы, а «тетушки».

— Извини. Ну, а теперь рассказывай, что тебя смущает, о чем ты меня хочешь просить,— сказала Виргиния Карловна после того, как Владимир Мартынович, поглощенный своими мыслями, рассеянно съел суп и снова принялся за креветки.

— Матушка, у нас сегодня будут гости. Очень важные гости.

— Много?

— Двое. Один — это писатель Алексей Максимович Горький.

— Разве он такой важный?

— Это высокий гость. Второй — очень дорогой мне человек. Он в нашей партии... ну, как бы вам, матушка, объяснить,— задумался Владимир Мартынович,— он в партии играет такую же роль, как полководец на поле сражения.

— Генерал вроде,— заметила Виргиния Карловна, улыбаясь.

— Я прошу вас приготовить ужин. Этот партийный товарищ — ну, генерал, как вы сказали,— останется у нас ночевать. Я пойду его встретить, а Алексей Максимович придет попозже. За ними обоими охотится царская полиция.

— Не беспокойся, Вольдемар, я сумею принять этих людей.

Владимир Мартынович ушел. Виргиния Карловна принялась хлопотать по хозяйству.

Несколько лет назад Владимир Смирнов, тогда еще студент Петербургского университета, пришел однажды домой и торжественно объявил своей матушке, что наконец он нашел цель в жизни и отныне все свои духовные и физические силы посвящает рабочей революции. Виргиния Карловна привлекла к себе сына и подумала: «Я знала, что моему утенку суждено стать лебедем», а вслух сказала: «Я с тобой, сынок». И первый адрес явочной квартиры и пароль Виргиния Карловна спрятала под валиком своей пышной прически.

Владимир Мартынович после исключения его из университета за участие в студенческих «беспорядках» обосновался в Гельсингфорсе — так посоветовали товарищи — и стал работать в университетской библиотеке.

Жили вдвоем с матерью. По вечерам на Елизаветинской улице слышались мелодии старинных романсов, и соседи знали, что почтенная «Виргиния Смирноф» со своим сыном Вольдемаром в четыре руки играет на фисгармонии. И сам полицмейстер города Гельсингфорса высмеял бы всякого, кто стал бы утверждать, что русский библиотекарь Владимир Смирнов и его добродушнейшая матушка занимаются опасной революционной деятельностью.

Смирнов — революционер? Невозможно себе представить. О рассеянности Владимира Мартыновича рассказывали анекдоты. Его зонтики, тросточки, галоши много раз побывали в камере забытых вещей. Когда же Виргиния Карловна уезжала в гости к родственникам, посетители

библиотеки могли по свитеру библиотекаря узнавать, четный или нечетный день сегодня. По четным дням он носил свитер налицо, а по нечетным наизнанку. Без матери ему некому было выворачивать свитер, когда он на ночь стягивал его с себя.

Но партия высоко ценила конспиративные навыки Владимира Мартыновича. Именно Смирнову поручили подыскать надежные конспиративные квартиры для Владимира Ильича. Смирнов изготовлял «железные» документы для Ленина. Организованные им переправы нелегальной литературы из Швеции через Финляндию в Россию действовали четко и никогда не проваливались. В библиотеке и на квартире Смирновых в революцию пятого года хранились бомбы, бикфордовы шнуры, оружие, патроны. Его квартира использовалась для самых ответственных конспиративных встреч.

Товарищи рассказывали, как однажды Владимир Мартынович израсходовал на партийные дела, связанные с транспортом нелегальной литературы, все свои сбережения и сбережения Виргинии Карловны. Когда товарищи из партийного комитета хотели возместить его расходы, Владимир Мартынович не на шутку обиделся: «Я посвятил революции жизнь, так зачем же говорить о деньгах...»

Владимир Мартынович был пунктуален, осмотрителен, когда это касалось партийных дел, и весьма рассеян и небрежен в отношении к себе самому.

Виргиния Карловна нередко носила в корзинах с овощами и листовки, и бомбы, останавливалась передохнуть рядом с полицейским и не отказывалась от его помощи поднести тяжелую корзину.

Жизнерадостную, приветливую Виргинию Смирнову хорошо знали в Гельсингфорсе, и, выходя из дома, она едва успевала раскланиваться с прохожими.

А сейчас она волновалась. Придется ли по вкусу высоким гостям ее стряпня? Какое вино они пьют? На всякий случай выставила на стол водку, коньяк и даже бутылку французского шампанского. И букет фиалок подобрала в цветочном магазине и устроила их в низкую, янтарного оттенка вазу. Не забыла поставить на стол тяжелые шандалы с толстыми свечами. А затем принялась устраивать постель. Перетащила на кровать сына свою перину, взбила белоснежные подушки, теплое одеяло засунула в прохладный, шитый ришелье пододеяльник. Для сына положила в кабинете плед и подушку.

И когда все было готово, надела парадное темное платье с туго накрахмаленным воротничком, а к волосам приладила кружевную наколку. Взыскательным взглядом осмотрела стол, зажгла свечи, выключила электричество, проверила — плотно ли задернуты портьеры на окнах.

В девятом часу раздался условный звонок.

Виргиния Карловна распахнула дверь, сделала книксен.

— Велькоммен! Добро пожаловать!

Вместе с Вольдемаром вошел невысокого роста молодой человек с улыбчивыми живыми глазами, лысый, весь ещё не в растаявших снежинках, румяный от холода.

— Здравствуйте, Виргиния Карловна, извините за столь позднее вторжение.

Виргиния Карловна перевела вопрошающий взгляд на сына: «Где же генерал?»

— Познакомьтесь, матушка, наш дорогой гость,— только и сказал Вольдемар.

И Виргинии Карловне захотелось взять полотенце и вытереть свежее и мокрое от снега лицо гостя и приголубить его, как сына.

— Проходите,— пригласил Смирнов Владимира Ильича.

Владимир Ильич перешагнул порог и развел руками.

— Я, кажется, пришел не вовремя. У вас какой-то праздник? Вы ждете гостей?

— Мы ждали вас,— сказала Виргиния Карловна.— Чем богаты, тем и рады.

Владимир Ильич, взглянув на количество бутылок на столе, так весело рассмеялся, что и хозяйке стало смешно.

— Сын сказал, что придут важные гости — писатель и генерал вроде, вот я и накрыла стол по-генеральски,— простодушно сказала она.

— Это я-то генерал! — Владимир Ильич кинулся в кресло и залился таким звонким смехом, что разбудил канарейку.

Торжественная напыщенность, не свойственная Смирновым и тем более Ильичу, насмешила всех. И этот дружный хохот сразу сблизил всех троих; Ильич почувствовал себя вдруг удивительно уютно в этом доме, как чувствовал только у матери.

Алексей Максимович опаздывал. Владимир Ильич поглядывал на часы, Владимир Ма́ртынович тоже волновался: Горький уже



познакомился в прошлом году с одиночной камерой в Петропавловской крепости и сейчас ему снова грозил арест.

Наконец раздался долгожданный звонок. Горький явился весь запорошенный снегом, на моржовых усах наросли льдинки.

— Полтора часа кружил по улицам, отрывал от себя «хвост», но, кажется, пришел чисто.

— Я сейчас проверю,— со знанием дела сказала Виргиния Карловна, накинула шубу, повязала платком голову и вышла.

Вскоре она вернулась с охапкой коротких поленьев для камина.

— Вольдемар, разожги камин, чтобы видели, что я не зря за дровами ходила — из трубы дым повалил. Два каких-то соглядатая бродят вокруг дома.

Владимир Мартынович поймал встревоженный взгляд Ильича.

— Пойду «очищу» улицу,— невозмутимо произнес Владимир Мартынович, но заикался сильнее обычного, и мать поняла, что волнуется. Она заправила сыну шарф на шее и задержала свои руки у него на груди: спокойно, мол, спокойно, сынок.

— Как же Владимир Мартынович будет «очищать» улицу? — поинтересовался Алексей Максимович.

— Он, наверно, пошел к товарищам, чтобы они сняли шпиков и поставили свою охрану,— сказала Виргиния Карловна, как о само собой разумеющемся.

Понимая, что гостям надо поговорить о делах, хозяйка предложила им перейти в кабинет Владимира Мартыновича, где она приготовила кофе.

— А я посижу в столовой, поиграю на фисгармонии. Пусть слышат, как я гостя развлекаю.

Владимир Ильич с чувством пожал пухлую руку хозяйки.

— Удивительный народ — матери,— сказал он, когда они расположились с Горьким в кабинете.— Какое тонкое чувство такта, понимание и бесконечная доброта! Замечательные люди!

В столовой запела фисгармония.

Горький стоял, прислушивался, жадно затягиваясь папиросой.

— Я, Владимир Ильич, задумал писать книгу о матери. Надеюсь написать ее за время своего путешествия в Америку. Книгу о творце жизни, о великой миссии матери на земле. Книгу о простой женщине — матери рабочего, матери революционера.

— Отличная мысль! — восхищенно воскликнул Владимир Ильич. Алексей Максимович по поручению большевиков ехал в Соединенные Штаты, чтобы рассказать американскому народу великую правду о русской революции и собрать средства на революционные нужды партии. Об этой поездке и шел у них разговор.

Было уже около двенадцати часов ночи, когда Владимир Мартынович постучал в дверь и напомнил, что Алексею Максимовичу пора собираться, чтобы не опоздать на последний поезд в Куоккалу.

— Путь от нашего дома до вокзала обеспечен дружинниками,— сказал он.

Виргиния Карловна сидела опечаленная у накрытого и нетронутого стола. В шандалах догорали свечи.

— Давайте присядем на прощание,— предложил Горький,— присядем и закусим.

— Я тоже голоден как волк,— согласился Владимир Ильич.

Это была самая большая награда для хозяйки.

Владимир Мартынович неотрывно смотрел на стенные часы.

— Прошу извинить, но я вынужден просить поторопиться,— снова напомнил он.

— Выпьем за здоровье дорогой хозяйки,— поднял рюмку Алексей Максимович и, обойдя стол, обнял Виргинию Карловну и поцеловал ее седые волосы.— Спасибо вам, дорогая наша мама!

Горький ушел.

Виргиния Карловна убирала со стола. Владимир Ильич, заложив руки за спину, взволнованный этой встречей, ходил по комнате из угла в угол.

— Большой человек, огромный талант,— вырвалось у него.— Как, Владимир Мартынович, он благополучно доберется?

— Можете быть спокойны, Владимир Ильич: дружинники передадут его по цепочке и в поезде у него будет сопровождение.

— Это большое счастье, что у нашей революции есть свой Буревестник. И нам надо его очень беречь.

Смирнов молча смотрел сквозь толстые стекла очков на Владимира Ильича и думал: «Какое счастье, что у нашей революции есть такой вожак».

— Пора и вам отдохнуть,— обратилась хозяйка к Владимиру Ильичу и провела его в комнату сына.

Владимир Ильич наотрез отказался спать на такой пышной «генеральской» постели.

— На ней полагается спать только принцессе, и можно поручиться, что она не почувствует горошины. А я буду спать в кабинете Владимира Мартыновича, там отличный диван.

— Но он очень короткий,— пробовала возражать Виргиния Карловна.

— Тем лучше, я люблю спать свернувшись калачиком. Спокойной ночи. Спасибо.— И Владимир Ильич плотно прикрыл дверь кабинета.

— Мне что-то совсем не хочется спать,— слукавила Виргиния Карловна.— Я, пожалуй, почитаю, а ты отдохни.

— Нет,— твердо сказал сын,— мне поручили охранять Владимира Ильича, и я буду читать в столовой, а вы ложитесь.

Виргиния Карловна понимала, что возражать бессмысленно.

Владимир Мартынович извлек из портфеля завернутый в газету маузер, освободил его от бумаги и осторожно положил на стол. Уселся в кресло и раскрыл тетрадь. Это была рукопись Горького «Дети солнца», переписанная кем-то от руки. О «детях солнца» он писал в полутемной камере Петропавловской крепости.

Владимир Мартынович протянул руку и пододвинул револьвер поближе к себе.

За всю свою жизнь он не сделал ни одного выстрела и правила обращения с оружием знал только теоретически. В библиотеке он с опаской обходил ящики с бомбами, боялся толкнуть их или даже громко кашлянуть. По-настоящему умел обращаться только с книгами, которые страстно любил. В университетской библиотеке знал каждую полку. Библиотека была для него не книжным складом, не тихим местом — это был огромный увлекательный мир, населенный интереснейшими людьми.

Он разговаривал с героями книг как с живыми, дискутировал с авторами. Получая новую книгу, немедленно прочитывал ее и, пристраивая на полке, говорил: «Вот вам еще один товарищ по идее» или: «Теперь вы имеете возможность поспорить».

А сейчас читалось плохо. Владимир Мартынович прислушивался к скрипу полозьев и цокоту копыт на улице и понимал, что, если понадобится, он сумеет воспользоваться огнестрельным оружием.

В камине вспыхивали синие огоньки, чуть слышно попискивала во сне канарейка, на ломберном столе холодно блестел ствол маузера.

«В А З А»

На краю гранитной скалы легким зеленым облаком распушилась березка, рядом на огромном валуне укрепилась сосна, словно ей захотелось подняться повыше и взглянуть на окружающий мир. Горькой свежестью пахнут молодые березовые листья, а от черемухи и в лесу душно. Еще три недели назад, когда Владимир Ильич уезжал на съезд в Стокгольм, только сосны и ели выглядели нарядными среди голых деревьев, а теперь все цветет первыми, неяркими, неприметными цветами. Весна пришла в финляндский лес.

Надежда Константиновна уговорила Владимира Ильича совершить прогулку на велосипедах, передохнуть после напряженной работы на съезде.

С широкой проселочной дороги она свернула на эту лесную тропинку, чтобы ехать друг за другом и не дать возможности Владимиру Ильичу разговаривать.

— Надюша, не пора ли сделать привал? — интересуется Владимир Ильич.

— Ты уже устал? — откликается Надежда Константиновна.

— Нет, не устал, но...

— Еще немного, за поворотом будет красивая поляна, там и отдохнем.

Владимир Ильич и не помнит, где эта поляна.

— Надюша, у меня спустила камера,— решительно говорит он и спрыгивает с седла.

Надежда Константиновна спешит на помощь. Подхватив двумя пальцами подол длинного платья, она бежит по тропинке, и солнечные блики, пробиваясь сквозь кружево зелени, танцуют в ее волосах.

Поравнявшись с велосипедом, она стучит носком туфли об одно колесо, о другое. Оба колеса тугие, упругие. Надежда Константиновна недоумевает:

— Все в полном порядке.

Он выдерживает ее испытующий взгляд.

— Значит, показалось,— говорит он виноватым голосом и ставит свой велосипед рядом с ее велосипедом.

— Так и быть, будем отдыхать,— соглашается она.— Ты только посмотри, какая красота кругом. А воздух-то, воздух какой! Дыши глубже...

— Прекрасно... прекрасно...— говорит рассеянно Владимир Ильич.

— Ты опять нервничаешь! — огорчается Надежда Константиновна.— Нарушаешь уговор. Посмотри, какие одуванчики на пригорке, словно пучки солнечных лучей. И сколько их! — Она срывает цветы и протягивает Владимиру Ильичу: — Смотри, как золотые!

— Было бы недурно, если бы они были и впрямь золотые. Тогда бы мы не испытывали этих дьявольских финансовых трудностей. Как нужны сейчас деньги, Надюша, ах как нужны! И много денег. Очень много.

— Да, деньжат в партийной кассе маловато,— соглашается она.— А газета дорого стоит.

Владимир Ильич все более волнуется:

— Большевистская правда должна стать достоянием всей партии, всего рабочего класса. Нужна газета, и не одна...

— Володя! — останавливает его Надежда Константиновна.— Ты очень изменился, дурно выглядишь... Тебе надо отдохнуть.

— Да, я переустал,— соглашается Владимир Ильич.— А как тебе понравился Плеханов? А? Мирком да ладком с буржуазией! А Акимов? Помнишь, тот без всяких обиняков предложил поддерживать кадетов и разносил меня за оценку их роли. Он высказался даже более откровенно, чем его братья меньшевики... Странный народ эти меньшевики. Сколько нудного, интеллигентского словопрения и сколько холопства!

Надежда Константиновна мягко кладет ему руку на плечо:

— Володя, может быть, обсудим все это завтра, вместе с товарищами? А сейчас будем собирать цветы. Мне хочется повезти маме в Питер большой букет. Помоги.

— Цветы? — спрашивает Владимир Ильич и с укоризной говорит: — Нехорошо обманывать друг друга. Я должен высказать тебе все свои мысли. Мне это необходимо, как дыхание. А разве тебя это не волнует?

Надежда Константиновна понимает, что увести Ильича от разговора о съезде невозможно, и она шутливо предупреждает:

— Я буду слушать тебя, но, чур, не нервничать и не воображать, что перед тобой меньшевики... Ведь теперь мы с ними объединились.



— Как масло с водой. Принятие съездом меньшевистских резолюций — дело случая. Меньшевики воспользовались численным перевесом.— Владимир Ильич прищурил левый глаз, вглядывается в глубь леса; и Надежда Константиновна знает, что он уже не видит ни деревьев, ни цветов: он снова в обстановке съезда.

— А какие другие результаты можно было ожидать? — говорит она.— Сорок шесть большевиков против шестидесяти двух меньшевиков.

— Побежденным я себя не чувствую, нет,— делает решительный жест рукой Владимир Ильич.— Съезд был нужный. У рабочего класса теперь единая партия. Мы отчетливо идейно размежевались. Это очень, очень важно.

— Что же теперь делать?

— Драться! — восклицает Владимир Ильич.— Мы поведем борьбу за нашу правду. Я об этом съезде хочу написать письмо питерским рабочим. Сегодня же засяду. Расскажу подробно и откровенно, как все было. И очень хочется мне, Надюша, выступить перед большой рабочей аудиторией, потолковать по душам, поговорить с глазу на глаз...

Надежда Константиновна слушает его со все возрастающим волнением. Ей также дороги интересы партии, интересы рабочего класса.

— Но это невозможно,— протестует она.— При той слежке, которая за тобой ведется, это просто немыслимо.

— А может быть, и подвернется счастливый случай...

Оба замолкают.

Владимир Ильич смотрит вокруг и словно впервые видит весенний лес, слышит хлопотливый гомон птиц. Совсем близко мерно ухает море.

— Хорошо! Очень хорошо! Красиво здесь и даже торжественно. Очень успокаивает. Месяц назад мы гуляли с тобой, под ногами хрустели ледяные корки, лес был редкий, а теперь какая чащоба! — Владимир Ильич захватывает в пригоршни ветки молодого дуба, рассматривает новорожденные красноватые и сморщенные листья.— Хорошо!

Надежда Константиновна с облегчением вздыхает. Она понимает, что страшное напряжение у Ильича спало.

— Слышишь, как шумит море? — спрашивает она.

Море совсем близко. Волны набегают на пологий берег, ворошат сероватую гладкую гальку, словно ищут чего-то, и, обессиленные, сползают назад; на смену им катят другие волны.

Неумолчно, непрестанно ухает море, набегают на берег волны.

Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно,—

напевает Владимир Ильич. Эту песню он любит с юности. Пел ее дуэтом с сестрой Ольгой. Надежда Константиновна сидит на пеньке. Охватив колено сцепленными руками, она подтягивает:

Но туда выносят волны
Только сильного душой!
Смело, братья!
Бурей полный,
Прям и крепок парус мой.

Как хорошо чувствовать себя молодым, сильным!

В который уже раз приходит в их жизнь весна, и каждый раз она по-новому прекрасна. Прекрасна и трудна.

Владимир Ильич уже весело шутит. Грозит пальцем Надежде Константиновне, прищурив левый близорукий глаз. Это придает ему лукавый вид.

— Ваш тактический прием, милостивая государыня, был разгадан в самом его зародыше. Сознайтесь, вы не случайно завели меня на эту узкую тропинку, в эту чащобу, чтобы ехать друг за другом и не дать мне возможности говорить... Вы думали, сударыня, отвлечь меня от мрачных мыслей? Да?.. Так вот, поэтому мне и «показалось», что я проколол камеру.

И оба смеются звонко и заразительно, и птичий гомон становится оживленнее.

— А теперь не пора ли ехать домой? — спрашивает Владимир Ильич.— Но возвращаться мы будем по широкой проселочной дороге.

— Хорошо, хорошо,— соглашается Надежда Константиновна, счастливая от сознания, что ей удалось хоть немного рассеять Владимира Ильича. Она легко садится на седло.— Догоняй!..

Солнце клонилось к западу, когда подъезжали к дому.

— Держу пари — у нас в гостях Владимир Мартынович,— говорит Владимир Ильич, придерживая калитку, чтобы пропустить Надежду Константиновну.— Видишь: у крыльца галоши и на перилах зонтик.

— А дождя не было уже дней десять,— весело замечает она.

Оба они любят этого человека.



Смирнов сидел на веранде. Владимир Ильич дружески протянул ему руку и, чтобы дать возможность справиться со смущением — Владимир Мартынович заикался,— стал весело рассказывать, как на обратном пути со съезда у Аландских островов их сильно потрепала буря. Все — и большевики и меньшевики — одинаково страдали морской болезнью.

— Вот здесь единение было полное,— смеясь, заключил Владимир Ильич.

— Как поживает ваша матушка? — осведомилась Надежда Константиновна.

Владимир Мартынович передал привет от Виргинии Карловны и сказал, что она хотела поехать вместе с ним, но дом у них сейчас полон родственников.

— Нельзя же всех этих тетей, дядей, племянников и сестер оставить без присмотра,— заметил он.

— Их у вас так много? — удивилась Надежда Константиновна.

— «Племянников» саженей сто, а «дядей» пудов десять,— ответил Владимир Мартынович и поймал на себе веселый недоумевающий взгляд Владимира Ильича.

Смутившись, что сказанное им походит на неуместную шутку, пояснил: «племянники» — это бикфордов шнур, «дяди» — динамит, «тети» — бомбы, а «сестры» — нелегальная литература.

— Это мы с боевиками на таком эзоповском языке разговариваем.

— Замечательно! — воскликнул Владимир Ильич.— И Виргиния Карловна осталась одна со всем этим хозяйством?

— Да, да,— подтвердил Владимир Мартынович. Он уже справился со смущением и не заикался.— Я ее просил только не использовать бикфордов шнур в качестве упаковочного материала. Однажды она уже сделала это. А «дядю» товарищи обещали забрать — у матушки от него болит голова.

— И в библиотеке у вас тоже полно «родственников»?

— Многовато, Владимир Ильич. Я затем и приехал, чтобы кое-что выяснить. Меки — извините, бывшие меньшевики — теперь ведь мы объединились...

— Меньшевики меньшевиками и остались,— заметил Владимир Ильич.— Этот съезд показал, что у рабочего класса может быть только одна партия, партия большевиков... Да, да, я вас слушаю, Владимир Мартынович.

— Так вот, эти самые меньшевики утверждают, что съезд высказался против вооруженного восстания и теперь, мол, оружие ни к чему...

— Все ваши «родственники», Владимир Мартынович, пролетариату пригодятся. Только выселить их надо и из библиотеки, и из вашей квартиры. А резолюция съезда о вооруженном восстании, навязанная меньшевиками, неправильная, и настанет время, когда ее поправят, поправят на деле.

— Я так и думал,— обрадовался Владимир Мартынович.— Тогда вопросов у меня нет. Я еще успею на вечерний поезд, не правда ли?

— Мы успеем поужинать. Я все приготовила,— отозвалась Надежда Константиновна и пригласила к столу.

Сгустились сумерки. Неправдоподобно большая луна повисла над домом и отразилась в разноцветных стеклах веранды. Хозяин-швед назвал этот дом «Ваза» в честь шведской королевской династии. Он и не помышлял о том, что в течение двух лет первой русской революции этот дом будет служить убежищем для человека, который утвердит и возвеличит самый угнетенный и обездоленный класс общества — класс пролетариев.

ТИШИНА



от уже несколько минут директор департамента полиции, прижав к уху телефонную трубку, слушает гневный голос министра внутренних дел. Бледное лицо шефа полиции покрылось малиновыми пятнами. Он пытается что-то сказать, но не может уловить паузы, чтобы вставить свое слово.

Перед столом директора департамента сидит адвокат Огородников, член Государственной думы, деятель кадетской партии. Он удобно расположился в кресле и, вытянув по ковру ноги, обутые в щегольские венские штиблеты, с тонкой усмешкой прислушивается к тяжелому дыханию шефа.

На стене висит портрет Николая II. Огородникову кажется, что царь лакированными сапогами опирается на лысину директора департамента полиции.

— Будет исполнено, господин министр! Примем все меры! Честь имею кланяться! — выпалил наконец шеф полиции и повесил трубку. Вытирая платком лицо, он покосился на Огородникова — не понял ли тот, как разносил его министр.— Прошу прощения. Дела, дела... Итак, я к вашим услугам.

— Влияние нашей партии, как вам известно, растет,— продолжал прерванную мысль Огородников.— В Государственной думе, на которую столь рассчитывает правительство, мы имеем больше трети мест. Это одно уже говорит о том, что народ идет за нами, за партией Народной свободы.

— Народ-то народ, а вот рабочие, милостивый государь! — пытается съязвить директор полиции, но и Огородников не остается в долгу.

— Видите ли,— говорит он,— бойкот Думы, к которому призывает социал-демократическая партия, вернее, часть ее, возглавляемая Лениным, сделал свое дело. Если бы не помощник присяжного поверенного Ульянов-Ленин, вам бы тоже не пришлось иметь этот неприятный разговор по телефону.

«Вот собака, слышал, все слышал»,— подумал шеф, но сделал вид, что не почувствовал щелчка.

— Так вот,— продолжал Огородников,— нам надо сломить бойкот рабочих. Девятого мая, в день перенесения мощей святителя Николая

из Мирликийска в Барград, в Народном доме графини Паниной созывается публичное собрание. Мы приглашаем рабочих из всех районов Питера. Будут выступать наши лучшие ораторы. Придут противники Ленина из его же партии.

— Меньшевики? — уточняет шеф.

— Так точно. Весьма благонамеренные люди, хоть и социалисты. Мы предложим собранию резолюцию в поддержку нашей партии, в поддержку Государственной думы. Планы Ленина с бойкотом Думы потерпят крах.

Шеф повеселел:

— Отлично! Ловко придумано, господин Огородников.

— Я бы просил, ваше превосходительство, распорядиться, чтобы на митинг не присылали жандармов. Вокруг дома не должно быть полицейских и этих...— Огородников брезгливо поморщился,— филеров. Благопристойность митинга обеспечит правление нашей партии.

— Хорошо, хорошо, я дам распоряжение,— спешит согласиться шеф и думает о том, что в борьбе с главным злом — социал-демократией — все средства хороши, кадеты тоже.

Шеф полиции и член кадетской партии простились, довольные друг другом.

Адъютант доложил, что прибыли начальник губернского жандармского управления генерал-майор Клыков и начальник охранного отделения полковник Герасимов.

— Проси,— распорядился шеф и стал сердито перебирать бумаги на столе. Не поднимая головы, он буркнул что-то невнятное — не то «садитесь», не то «стыдитесь»,— и генерал и полковник решились сесть.

Продолжая перекладывать бумаги, директор департамента приказал Клыкову доложить обстановку в столице.

— По сведениям, представленным мне фабричной инспекцией, сегодня, первого мая, в Санкт-Петербурге бастует пятьсот...

— Разрешите заметить, более пятисот,— поправил начальника жандармского управления начальник охранки.

Клыков недовольно кашлянул и продолжал:

— Пятьсот с лишним промышленных заведений, сто двадцать тысяч рабочих не вышли на работу. Вверенные мне чины жандармерии не допускают скопища мастеровых, конфискуют знамена и красные

нагрудные банты. В столице с утра было тихо, особых столкновений и эксцессов не произошло.

Шеф вскипел, и лицо его опять покрылось малиновыми пятнами.

— «Было тихо»! «Было тихо»! — крикнул он.— Я сам слушал эту тишину, будь она трижды проклята. Ни одного гудка! Такая тишина страшнее артиллерийской канонады. Вы что, забыли, генерал, прошлогоднюю «тишину»?

Нет, этого никто не забыл. Все помнили, как в прошлом, 1905 году по воле рабочих погасли топки в котлах, не текла вода по трубам, не выдавался уголь на-гора́, не бегали конки, паровозы застыли в депо. Рабочие вышли на улицы и потребовали: «Долой царское самодержавие!»

— Полтора года мы ведем борьбу со смутой, чуть ли не вся страна объявлена на военном положении, а сегодня в столице бастуют все промышленные заведения, все...

— Не все, далеко не все, ваше превосходительство,— попытался успокоить его Клыков.— «Арсенал» не бастует, пивоваренный завод Дурдиева работает...

— Я был бы счастлив,— воскликнул шеф почти торжественно,— если бы сегодня бастовал «Арсенал». Да! Было бы отлично, если бы бастовал пивоваренный завод Дурдиева. Да! — Шеф стучал по столу то правым, то левым кулаком, раскачивался из стороны в сторону, и Клыкову и Герасимову показалось, что портрет царя теряет опору.— Мы выстроили бы с вами этих рабочих и — с места шагом ма-а-рш! — отправили бы в Сибирь. А сто двадцать тысяч рабочих вы тоже в Сибирь сошлете? А? Кто виноват в том, что сегодня бастуют все заведения столицы? Кто? — Шеф перевел свои выпуклые глаза на тонкое лицо с умным и холодным взглядом начальника охранки.

— Преступное сообщество, именуемое социал-демократией, ваше превосходительство,— ответил Герасимов.— Это они распространили в столице тысячи и тысячи листовок...

— А вы что зеваете?

— Я полагал, что порядок в столице — дело жандармского управления и полиции.— Герасимов скосил холодные глаза на Клыкова.— Мы, как вам известно, всецело заняты выявлением боевых рабочих организаций, складов оружия. В них главное зло.

— Главное зло в тайных печатнях,— раздельно и веско произнес

Клыков.— Но с прискорбием должен отметить, что полковник Герасимов со своими людьми не может обнаружить эти печатни. Листовки подстрекают мастеровых на преступные дела, через листовки социал-демократы оповещают рабочих о своих планах. В печатнях главное зло.

— Позвольте, генерал,— едва сдерживая ярость, перебил его снова Герасимов.

— Не грызитесь, господа, не грызитесь,— строго заметил шеф.— Не туда целитесь. Дело много сложнее и куда проще. Подумали ли вы о том, какую власть над душами рабочих имеет Ульянов? Не тут ли корень зла? С боевыми организациями и террористами полковник справляется отлично. Но вот Ленин! Его книжки возмущают умы рабочих... Я давно подписал приказ о его аресте, почему он не выполнен? Я вас спрашиваю, почему? Полковник, доложите, какие вы имеете сведения об Ульянове-Ленине?

Герасимов недобро посмотрел на Клыкова и отчеканил:

— Ульянов почти ежедневно выступает на конспиративных совещаниях в Петербурге. Скрывается в Финляндии, куда нам заглядывать не велено. В прошлом месяце ездил на партийный съезд в Стокгольм. Каждый день печатает статьи в большевистских листках.

Шеф явно благоволил Герасимову, надеясь на его тайных агентов и филеров больше, чем на полуграмотных и тупых жандармов Клыкова.

— Полковник знает об Ульянове все; почему же вы, генерал, на основании его донесений не арестовываете Ульянова?

Клыков уловил недоброжелательство к себе и решил направить огонь на Герасимова:

— Полковник знает об Ульянове все. Он знает, где Ульянов был вчера, где находился два часа назад, а вот где он находится в эту минуту и где будет ночевать сегодня — этого-то полковник и не знает.

Герасимов даже не повернул головы в сторону генерала.

— Ульянов весьма и весьма опытный конспиратор, ваше превосходительство, и тем не менее мои филеры видят его почти ежедневно и тотчас докладывают в жандармское управление.

— А что толку? — раздраженно спросил Клыков.— Что толку в их докладах? Искать Ульянова все равно что искать в стогу сена иголку.

— Господа, я призываю вас к благоразумию! Ленин доступен тысячам черни и недосягаем для нас с вами. Да возможно ли это? Что у него есть: деньги? солдаты? У него, если хотите знать, нет даже собст-

венной квартиры, и все его имущество можно уложить в солдатский сундук. Почему же сегодня сто двадцать тысяч рабочих Петербурга подчинились ему? В чем его сила? В чем, я вас спрашиваю?

— Ульянов сумел внушить рабочим, что они могут быть вершителями судеб всего человечества,— попытался оправдаться Герасимов.

— Нужно сделать так, чтобы у рабочих не было этого талантливого адвоката, а у нас с вами подобного прокурора. Запомните, господа, ваша честь, ваша карьера поставлены на карту. Пока существует социал-демократическая партия и Ленин на свободе — нам непозволительно спать спокойно. Я даю вам право арестовать его в любом месте.— Шеф отдавал себе отчет, что его собственная карьера зависит от усердия жандармерии и охранки, и поэтому был милостив к генералу и полковнику.— Пора снять голову с революционного туловища,— многозначительно заключил он.

Клыков и Герасимов поднялись.

— Будет исполнено, ваше превосходительство,— щелкнули они разом каблуками.

— И кстати,— остановил их шеф,— кадеты затеяли умное и полезное отечеству дело. Девятого мая в доме графини Паниной собирается народный митинг. Вы, генерал, своих жандармов туда не посылайте. Вам же, полковник, не мешало бы самому побывать там и поучиться у кадетов, как вести борьбу с социал-демократами. В Народном доме есть телефон, будете держать связь с генералом. Действуйте!

Клыков и Герасимов откозыряли.



ПО ДУШАМ

Наступил день 9 мая.

Моросил дождь, лохматые тучи низко ползли над Питером, задевая за шпиль Петропавловской крепости, Адмиралтейскую иглу, купол Исаакиевского собора. После полудня тучи разошлись, оставив на голубом небе клочья серых облаков.

К вечеру питерская окраина за Обводным каналом преобразилась. По Лиговке, как по Невскому проспекту, ехали экипажи с нарядными барынями и господами. Конки были переполнены. По панели густо шли рабочие. Все спешили в Народный дом графини Паниной. Лиговские обыватели сидели на скамеечках под акациями, которые даже в этот майский день выглядели чахлыми, и с любопытством наблюдали за необычным шествием. К митингам и манифестациям люди за последние полтора года привыкли, но вот чтобы господа и рабочие собирались вместе — такого видеть еще не приходилось.

В Народном доме шла подготовка к собранию: скатывали ковровые дорожки в коридорах, на втором этаже в вестибюле раздвигали в стороны белые мраморные фигуры и кадки с шуршащими пальмами, в зрительном зале задергивали тяжелые портьеры на стрельчатых окнах, чтоб белая питерская ночь не смешивалась со светом огромной люстры. На сцене поставили в ряд столы и покрыли их зеленой плюшевой скатертью.

Митинг был назначен на девять часов, но уже к восьми часам публика заполнила зрительный зал.

За кулисами в актерской комнате собрались деятели кадетской партии. Панина приехала последней. Миллионершу приветствовали стоя. Софья Владимировна была хороша собой и одета нарочито скромно, под народную учительницу.

— Я еле пробралась в собственный дом,— оживленно рассказывала она.— Тамбовская и Прилукская заполнены народом. Рабочие в праздничной одежде. Волнующее зрелище. Народ тянется к нашей партии, господа.

— Народ вручил свои судьбы партии Народной свободы,— высокопарно отозвался Огородников.

Панина вынула из-за пояса крохотные часики:

— Девять часов. Пора открывать.

Руководители кадетской партии двинулись в зал. Огородников заметил за кулисами маленькую фигуру меньшевика Дана.

— Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, Федор Ильич,— пригласил он.

— Благодарю,— ответил Дан,— я пойду в массы, к рабочим, там мое место,— и стал пробираться в зрительный зал.

Зал гудел.

Народу набилось так много, что не только сесть, но и встать было негде.

Надежда Константиновна пришла задолго до начала митинга и заняла место поближе к сцене и к проходу. Неприметным кивком головы она здоровалась с товарищами по партии, осматривала зал. Рабочих большинство, и среди них, как цветочные клумбы, питерские барыни в модных шляпках с цветами. Жандармов не видно. Из-за тяжелой портьеры на окне выглядывает смышленое лицо Ромки, значит, и Ефим Петрович должен быть где-то поблизости.

Графиня Панина в сопровождении свиты деятелей кадетской партии вышла на сцену, благосклонно приняла аплодисменты. Дамы занялись обсуждением покроя платья графини и внешности мужчин. Рабочие смотрели выжидательно.

— О чем говорить-то будут? — спросила громко пожилая работница.

— Байки сказывать про хорошую жизнь! — ответил рабочий в кумачевой рубашке.

— А будет она — хорошая жизнь-то? — допытывалась женщина.— Все для господ. Они хорошей жизнью распоряжаются.

В левом проходе, забитом людьми, началось какое-то движение. Группа рабочих-дружинников энергично прокладывала себе путь. Среди них — Владимир Ильич. Он одет в синюю косоворотку и рыжеватый двубортный пиджак, который ему широковат. Надежда Константиновна увидела его, и знакомый страх сжал сердце. Она бросила украдкой взгляд направо, налево. Нет, появление этой группы в зале не привлекло внимания, взоры всех устремлены на сцену.

Владимир Ильич и рядом с ним Ефим Петрович остановились у крайнего окна, ближе к сцене. Ефим Петрович заглянул за портьеру — Ромка был на месте. Владимир Ильич поискал кого-то глазами, увидел



Надежду Константиновну, и его взгляд сказал ей многое: и чтобы не беспокоилась, и что выступать он будет непременно.

Он вырвал из тетради полоску бумаги, написал на ней несколько слов, свернул как аптечный порошок и передал впереди стоящему. Внимательно следил за тем, как записка переходила из рук в руки, пока, наконец, не попала на стол президиума.

Председатель позвонил в колокольчик и объявил народный митинг открытым. Он пригласил члена ЦК кадетской партии Водовозова занять свое место за ораторским столиком.

Водовозов разложил на столе, как карты, мелко исписанные четвертушки бумаги, защемил на переносице пенсне и начал монотонно читать свою речь.

В зале стоял сдержанный шум. Профессорская речь мало кого интересовала. Не интересовала она, казалось, и самого оратора. Опустив вниз тяжелые, сонные веки, он что-то бубнил себе в прокуренные усы.

Ефим Петрович зорко оглядывал зал. У противоположной стены в кресле он приметил полковника Герасимова, одетого в штатский костюм, и очень обеспокоился. Ефим Петрович что-то шепнул своему соседу. Через несколько минут дружинники образовали вокруг Герасимова живую стену.

Ефим Петрович тронул Ромку за плечо.

— Проберись-ка вниз,— прошептал он.— У кабинета управляющего Григорий с «Вестингауза». Знаешь его?

— Неужели ж нет? — обиделся Ромка.

— Скажи ему тихо, на ухо, что Сыч припожаловал и что Ефим Петрович велел действовать. Понятно?

— Понятно! — подтвердил Ромка, сполз с подоконника и, как угорь, стал протискивать свое худое тело сквозь толпу.

В зале один оратор сменял другого, звучало много красивых слов о свободе.

Герасимов перебирал брелоки на часах, смотрел на лица рабочих: на одних было написано равнодушие, на других разочарование, на многих усталость. Живую искорку интереса он заприметил у немногих. Почему же эти малограмотные и усталые люди превращаются в такую деятельную силу, когда ими управляет социал-демократическая партия? Оторвать бы от рабочих их питающую и возбуждающую социал-демократию, проникнуть в партию и вырвать ее сердце — Ленина. Но

как это сделать? Хорошо бы внедрить в социал-демократическую партию агента, подобного Азефу.

Азеф — один из руководителей партии эсеров, агент охранки. Начальник охранки купил его за тысячу рублей золотом в месяц. Дорого заплатил. Но зато партия эсеров-террористов сразу потеряла свое страшное значение. С Азефом встречается только он, Герасимов, даже шеф полиции не знает его настоящего имени. Царь осведомлен. И всё.

Азеф ночами заседает со своими боевиками и разрабатывает планы террористических актов против особ царствующего дома и членов правительства. Он отечески нежно благословляет молодых эсеров на совершение террористических актов, а под утро встречается с Герасимовым и передает эти планы ему. Спустя неделю-две Азеф горько скорбит о повешенных террористах на заседании боевой организации эсеровской партии. Скорбит и снова предает.

Страшный человек! Чтобы его не разоблачили в своей партии, он иногда оказывается вдруг неосведомленным, и террористический акт совершается. Герасимов сам боится этого агента — Азеф может предать и его, начальника охранки, может подослать к нему своих убийц. Полковник с Азефом поэтому не ссорится и набавляет ему сотню-две золотых, когда тот настойчиво требует. Был бы такой агент в социал-демократической партии, Герасимов бы знал, где в данную минуту находится Ленин и что он будет делать в ближайшее время...

— Слово имеет господин Бартеньев,— прервал мысли Герасимова громкий голос председателя.

На сцену вышел маленький юркий человек. Герасимов пристально вгляделся в него. «А-а,— вяло подумал он,— социал-демократ Федор Дан. Сменил сегодня фамилию на Бартеньева. Не опасный. В охранке его карточка отмечена желтой галкой, как голова ужа».

— Братцы рабочие! — услышал Ромка голос оратора, выбираясь из зала в вестибюль.

Здесь было тоже тесно, и даже лестница, ведущая вниз на первый этаж, была забита народом. Имена ораторов и смысл их речей эстафетой передавались из зала.

Ромка поразился, какой галдеж стоял внизу. Все, о чем говорилось ораторами в зале, здесь горячо обсуждалось. «Что это за дарованная царем конституция, которая не дает рабочим никаких прав? Зачем нам



Государственная дума, которая против царя пикнуть не смеет? Как добиться настоящей свободы?» — слышалось тут и там.

Григорий стоял у самых дверей кабинета управляющего, но Ромка не сразу до него добрался.

— Ну что? — спросил Григорий ястребка.

— Дядя Ефим сказал, что Сыч явился и пора действовать.

— Ясно,— ответил Григорий,— поможешь мне. Заходи быстро.

Ромка прошмыгнул в кабинет. В комнате был полумрак, свет от уличного фонаря освещал белого мраморного юношу, который опершись одной рукой на каменный крест, в другой держал череп и задумчиво его рассматривал. Пахло цветами, чистотой, под ногами лежал толстый, как мох, ковер. Громко тикали огромные часы, и блестящая, как солнечный луч, стрелка равномерно перепрыгивала по кругу.

Вслед за Ромкой в кабинет вошел Григорий, запер дверь на ключ и отвернул угол ковра.

— Чтобы не наследить, ковер дорогой,— пояснил он.— Вот тебе кусачки. Забирайся ко мне на плечи.

Григорий был высокого роста, и Ромка чувствовал себя на нем прочно, как на дереве.

— Перережь провод, да побыстрее,— скомандовал Григорий.

Кусачки щелкнули, словно раскусили маленький твердый орешек. Ромка мягко спрыгнул на пол. Когда он, все еще красный от волнения, снова пробрался в зал, председательствовала графиня. Она приглашала послушать «уважаемого члена Государственной думы адвоката Огородникова».

Высокий и красивый Огородников поднялся и не торопясь подошел к ораторскому столу. Он чуть вздернул рукава у запястий и стал глубокомысленно рассматривать свои руки, поворачивая их то ладонью, то тыльной стороной. Дамы немедленно отметили, что руки у него тонкие и породистые, хотя фамилия «фи, какая вульгарная».

Когда водворилась тишина, Огородников грустно посмотрел в зал и доверительно сказал:

— Плохое у нас правительство, господа!

Зал грохнул от рукоплесканий. «Вот это правильно! Что правда, то правда!» — кричали рабочие. «Какая смелость!» — восторгались господа либералы.

— Плохое правительство,— повторил Огородников.— Но Государственная дума сделает так, чтобы это правительство стало лучше. Мы заставим его считаться с желаниями народа. Наша партия уже начала переговоры с правительством. Правда, пока за чашкой чая. Мы хотим сделать все полюбовно, без насилия, без насилия, господа. Мы против насилия как сверху, так и снизу. Социал-демократы призывают к забастовкам и стачкам. Кому это нужно?

— Нам, рабочим, это нужно! — крикнул пожилой рабочий с балкона.

— Рабочие должны поддержать нашу партию,— ответил Огородников,— отказаться от бойкота Думы, и мы обещаем защищать всех людей без различия на основе завоеванной нами конституции. Мы должны быть вместе.— Огородников развел руки, словно хотел обхватить все три тысячи человек.— Представьте себе, господа, связанных по рукам одной веревкой либерала и социалиста, которых готов растерзать лев, огромный, дикий. Мы их призываем: разорвите веревку совместными усилиями, вам грозит опасность, а они вместо этого волтузят друг друга ногами. И это одобряет... кто бы вы думали? — Огородников сделал многозначительную паузу. Наступила тишина.— Ленин это одобряет, большевики. Они за насилие. А мы против всякого насилия. Самый

умный и дальновидный социал-демократ Плеханов понял, что не надо было рабочим браться за оружие, что сила в единении либералов с социалистами. И мы аплодируем господину Плеханову, его мудрости...

«Ишь ты!» — взглянул на Огородникова прищуренным левым глазом Владимир Ильич.

Он стоял, чуть наклонив голову набок, слушал оратора и делал заметки в тетради. Он не чувствовал ни тесноты, ни ужасающей духоты, он только машинально расстегнул пуговку на косоворотке.

Огородников продолжал свою речь.

— Врет ведь,— досадливо сказал рабочий в кумачовой рубашке,— но врет складно, и черт знает, как его вывести на чистую воду.

— Ленина бы сюда,— откликнулся пожилой рабочий,— а то кадеты замутят голову сладкими речами.

Ефим Петрович повернулся к говорившему:

— А Ленин сумел бы ему ответить?

— Будьте уверены! Буржуи пользуются тем, что Ленину невозможно выступать на митингах. Жандармы сразу его схватят. Но ничего, он им в письменном виде ответ подаст.

«Гм, гм, любопытно, весьма любопытно»,— заметил про себя Владимир Ильич.

Огородников, перегнувшись через ораторский столик, с пафосом воскликнул:

— Народ проснулся! Он, как сказочный богатырь, прикоснулся к чудодейственному напитку свободы, поднесенному ему партией Народной свободы, и, выпив, почувствовал в себе силы великие. Идите за нашей партией, господа! Она друг народа. Она друг свободы.

В зале хлопали, не жалея ладоней, дамы кричали «брависсимо» и посылали оратору воздушные поцелуи. Рабочие пожимали плечами: «Поди-ка разберись во всем этом. Может быть, господа кадеты и в самом деле добра желают».

Панина заглянула в записную книжечку.

— Наш следующий оратор — господин Карпов,— объявила она.

— Наконец-то! — прошептал Владимир Ильич, застегнул пуговку на вороте и стал пробираться вперед.

Ефим Петрович и несколько дружинников двигались за ним к сцене.

— Мы просим господина Карпова быть кратким,— продолжала Панина,— уже полночь, люди устали, а у нас еще много ораторов.

Сидящие в задних рядах вытягивали шеи, чтобы рассмотреть нового оратора.

До сих пор выступали известные всей стране адвокаты, профессора, члены Государственной думы, фотографии которых появлялись в газетах. А Карпов? Кто такой Карпов?

— От какой партии? С какого завода? — шумели в зале.

Карпов легко и быстро взбежал по ступенькам на сцену и вежливо поклонился графине.

В разных концах зала ему захлопали и закричали «браво». Это были соратники Ленина, но их здесь было немного. Большинству собравшихся он был незнаком.

Надежда Константиновна с волнением наблюдала за Ильичем. Он подошел к ораторскому столику и, чуть опершись на него ладонями, неожиданно звонко и молодо воскликнул:

— Граждане! — после паузы, как бы между прочим: — Господа!

На этом митинге пленительное и новое слово «граждане» было произнесено сегодня впервые и шелестом отозвалось в зале. Зал насторожился.

— Я постараюсь быть кратким и доступным, чтобы меня поняли и профессора.

— Весьма остроумное начало,— заметил Огородников.— Послушаем, что он скажет дальше.

Надежда Константиновна видела, что Ильич волнуется. На бледном лице горели глаза, ставшие из карих совсем темными, на крутом лбу блестели капли испарины. «Ну как ему не волноваться,— думала она,— ведь это его первое открытое выступление. Он так мечтал об этом!»

— Только что один из видных представителей Государственной думы,— продолжал Ленин,— присяжный поверенный Огородников утверждал, что буржуа и пролетариат связаны одной веревкой...

Владимир Ильич подошел к самой рампе, вгляделся в зал и тихо спросил:

— Есть здесь путиловцы?

— Как не быть? Есть! — ответило разом несколько голосов с балкона.

— Товарищи путиловцы, скажите, пожалуйста, вам приходилось видеть буржуа и рабочего, связанных одной веревкой, веревкой нужды, бесправия, угнетения, эксплуатации? Приходилось?

— Чего не приходилось, того не приходилось,— ответил пожилой путиловец под гул одобрения своих товарищей.

— Господин Огородников уверяет,— продолжал Владимир Ильич,— что либералы и рабочие, отданные на растерзание льву, объединяются для совместной борьбы. Отлично! Но как быть, если одни берутся за оружие, чтобы напасть на зверя, а другие, увидев на шее льва нагрудничек с надписью «Конституция», вопят: «Мы против насилия, бросайте оружие!» Вы верите, товарищи, в нагруднички? — спросил оратор, обращаясь к переполненному балкону.

Смех и рукоплескания были ответом на его слова.

Герасимов впился глазами в Карпова. «Неужели это Ульянов? По одежде рабочий, но этот высокий лоб ученого? Другого такого нет».

— Мы слушали с вами ласковые речи кадетов...— продолжал Владимир Ильич.

Его прервал господин в сюртуке, с золотым пенсне на носу:

— Мы именуемся теперь партией Народной свободы.

— Подите вы! — вдруг рассердился Владимир Ильич.— Вы партия мещанского обмана свободы. Военно-полицейская диктатура празднует свои бешеные оргии, экзекуции и массовые истязания идут по всей России, а вы призываете к полюбовной сделке с царизмом, выступаете против насилия снизу. В феврале перед выборами вы обещали изгнать и отдать под суд преступных членов правительства, вы обещали созвать настоящую народную Думу. Почему вы не выполнили ваших обещаний?

Господин в золотом пенсне подскочил на месте:

— А кто вы такой? Кто вы — скажите-ка!

— Я — Карпов,— ответил Владимир Ильич и продолжал: — Может быть, многие из вас поверили, что кадеты — друзья народа и что они не собираются продать народную свободу царизму?

— От чьего имени вы говорите? — закричал Огородников.

— От имени рабочей партии. От имени пролетариата.

— Рабочие идут за нами. Вы сегодня в этом убедились,— надрывался Огородников.— Мы ведем пароход свободы.

Владимир Ильич быстро повернулся к нему:

— Вы — пароходные свистки, а рабочая партия в революции — это пар в котлах пароходной машины.— И, обращаясь к митингу, продолжал: — Будет пар в котлах — будут свистеть в свистки. Будет сила у революции — будут свистеть и кадеты.



Рабочие дружно зааплодировали.

Герасимов отметил, что усталость и равнодушие как ветром сдуло, он видел, как интерес к оратору перешел в доверие.

Начальник охранки поднялся с места и, извиняясь перед дамами, стал пробираться к выходу.

— ...Господин Огородников утверждал здесь, что у кадетов не было соглашения с царем и были лишь переговоры за чашкой чая,— продолжал развивать свою мысль оратор.

— Да, да, он так сказал,— подтвердили в зале.

— С кем же велись переговоры? — спросил Владимир Ильич притихший зал.— С Треповым! С тем самым Треповым, который дал приказ войскам и полиции против рабочих патронов не жалеть и холостых залпов не давать.

— Позор! Позор! — раздалось со всех сторон.

Огородников выбежал к краю сцены.

— Никакого соглашения не было, велись только переговоры! — крикнул он.

— А что такое переговоры? — парировал в упор Владимир Ильич.— Вы — адвокат, господин Огородников, и отлично знаете, что переговоры — это желание соглашения, и в данном случае соглашения с царизмом, как быстрее и лучше задушить революцию.

В зале зашумели.

Барин в пенсне повернулся лицом к публике и, не жалея голосовых связок, закричал:

— Этот Карпов подослан Лениным!

Он заложил два пальца в рот и пронзительно свистнул. На его свист обрушился шквал рукоплесканий. Рабочие, сложив ладони коробочкой, усердно хлопали, словно стреляли из ружей.

Серебряный колокольчик в руках графини тщетно пытался восстановить тишину.

Герасимов поймал себя на том, что ему хочется дослушать до конца и понять, чем силен этот человек. Герасимов также подумал о том, что не делал ли он все время ошибки, направляя главные усилия на борьбу с боевыми организациями рабочих. «Но неужели Ульянов так неосмотрителен, что явился сюда, на многотысячный митинг, и даже не надел парика? Вот сейчас его упустить нельзя!»

— Пропустите, господа, у меня важное государственное дело.

— Помолчи ты, господин хороший,— отмахивался от него рабочий в кумачовой рубашке, оказавшийся рядом.— Послушай лучше, что говорит оратор.

В зале звучал уверенный голос Ленина.

Владимир Ильич ходил по сцене и разговаривал с тремя тысячами жадно слушавших его людей. Огородников сидел за столом президиума и строчил бумагу.

— Перед вами выступал господин Бартеньев.— Владимир Ильич поискал глазами маленького Дана.— Выступал не от имени всей социал-демократии, а от правого крыла, от меньшевиков. Он призывал идти за кадетами и уверял, что кадеты ищут поддержки в народе. В этом он прав. Но Бартеньев умолчал о том, что либеральная буржуазия смертельно боится революционной самостоятельности пролетариата. Почему он об этом умолчал? Потому что господа меньшевики сами не верят в силу и самостоятельность пролетариата и отводят ему в революции роль скромного чернорабочего.

— Вы замахиваетесь на решения Объединительного съезда,— вдруг вынырнул откуда-то Дан.

— Я признаю обязательность решений съезда, но некоторые из этих решений ошибочны, а ошибки надо исправлять,— заключил спокойно Владимир Ильич и вынул из кармана вчетверо сложенный лист бумаги.— Прошу заслушать предлагаемую мною резолюцию...

Надежда Константиновна удивленно посмотрела на Ильича. Он не говорил ей, что будет предлагать собранию свою резолюцию. Значит, это решение созрело здесь.

— Простите, господин Карпов, но у господина Огородникова тоже есть резолюция,— возразила председательствующая Панина.

— Это чересчур, господа,— нервно взывал Огородников.— Захватить трибуну и протаскивать большевистскую резолюцию. Прошу заслушать нашу резолюцию...

Но в зале зашумели:

— Даешь резолюцию Карпова! Карпов, читай!

— У нас есть еще ораторы. Мы дадим им слово? — спросила Панина, едва добившись какого-то порядка в зале.

— Нет! — единым дыханием ответил зал.— Резолюцию Карпова!

Панина опустилась на стул. Владимир Ильич легким поднятием руки восстановил тишину.

Герасимов, потеряв самообладание, свирепо растолкал окруживших его дружинников, выбрался из зала. Вслед ему неслись слова:

— ...Собрание заявляет, что партия Народной свободы — кадеты — выражает лишь робко и неполно народные требования, не выполняет своего обещания объявить созыв всенародного учредительного собрания...

— Это ваше личное мнение. Собрание думает иначе! — закричал взбешенный Огородников.

Ульянов продолжал:

— Мы предостерегаем народ от этой партии, которая колеблется между народной свободой и угнетающей народ старой самодержавной властью.

— Правильно... верно...— подтверждали в зале.

— ...Собрание призывает крестьянскую «Трудовую» и рабочую группу в Государственной думе выступать решительно, совершенно независимо от кадетов, каждая со своими самостоятельными требованиями, и заявлять полностью требования народа.

Собрание обращает внимание всех, ценящих дело свободы, на то, что поведение самодержавного правительства и полная неудовлетворенность крестьянских и общенародных нужд делают неизбежной решительную борьбу вне Думы, борьбу за полную власть народа, единственно способную обеспечить свободу и нужды народа.

— Это же большевистская резолюция! — надрывался барин в золотом пенсне.

— Собрание выражает уверенность, что пролетариат по-прежнему будет стоять во главе всех революционных элементов народа.

— Вот это по-нашему! — крикнул рабочий с балкона.— А то кадеты распинаются, будто они ворочают рабочим классом.

Владимир Ильич протянул зачитанную резолюцию Паниной:

— Покорнейше прошу проголосовать.

— Голосовать! Голосовать! — потребовали рабочие.

— Будем голосовать резолюцию Карпова,— согласилась Панина, и было видно, что она уже справиться с собранием не может.

Руководство митингом перешло в руки этого коренастого человека с простонародной фамилией Карпов.

— Прошу поднять руки, кто согласен с резолюцией Карпова,— обратилась Панина к собранию.



Зал ощетинился тысячами вскинутых рук.

Ромка встал на подоконнике во весь рост, откинул портьеру и высоко поднял свою худую руку. Он голосовал первый раз в жизни.

— Да здравствует победоносная революция! — чуть откинувшись назад, провозгласил Ленин, поклонился Паниной и исчез в толпе рабочих.

А в это время в кабинете управляющего начальник охранки Герасимов яростно крутил телефонную ручку.

— Станция! Станция! Барышня! Почему никто не отвечает? Что за чертовщина? Барышня! — Герасимов крутил ручку, и взгляд его скользил по телефонному проводу.— Дьявольщина! — прошипел полковник, увидев, что с карниза над дверью безжизненно свешиваются два конца перерезанного провода.

Из зала на лестницу выплеснулась песня:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног...

Рабочий в кумачовой косоворотке вскочил на подоконник, сдернул с себя праздничную рубашку и аккуратно стал ее разрывать на небольшие куски. И вот над головами людей затрепетали крохотные знамена.

Ромка и не заметил, как людской поток вынес его на улицу, и он вместе со всеми уверенно выводил сиплым мальчишеским голосом:

Ненавистен нам царский чертог...

Поздний час ночи. Громко цокают копыта по булыжной мостовой, высекая подковами искры. Сонный извозчик лениво погоняет лошадей, седоки не торопят.

— Я очень доволен сегодняшним днем,— говорит Владимир Ильич.

Он уже в котелке, в темном пальто, белый воротничок с галстуком пристегнут поверх косоворотки.

— Вот ты и поговорил по душам..— отзывается Надежда Константиновна.— Поначалу волновался...

— Как никогда! — признается Владимир Ильич.— И давно так не радовался, как сегодня. Замечательное чувство — контакт с рабочей аудиторией, и я счастлив, что моя резолюция принята вполне сознательно... Ты уловила какие-нибудь интересные реплики?

— Со мной рядом сидел профессор, очевидно из области юриспруденции,— смеется Надежда Константиновна.— Он убеждал своего соседа, что из тебя получился бы великолепный адвокат.

Владимир Ильич рассмеялся так заразительно, что даже извозчик оглянулся — чего это господам так весело!

Надежда Константиновна всегда чувствует себя счастливой, когда слышит этот смех... Сложная у них жизнь, маетная. Но никакой другой, размеренной и удобной жизни она и не хотела бы.

— Ты что-то сказала? — прерывает ее мысли Владимир Ильич.

— Нет, просто думаю.

— О чем?

— Уж очень хороша весна и эти прозрачные майские ночи!

— И какая мерзкая жизнь на этой прекрасной земле...— Владимир Ильич взглянул на цветущие сады по обеим сторонам улицы.— Мне хотелось бы самому услышать, когда не поэты, а рабочие, крестьяне сами скажут: прекрасная штука эта жизнь!





В церкви Братства



«БУДЕТ ДРАЧКА»

В праздничном, приподнятом настроении перешагнул Горький порог церкви Братства. Прижав обеими ладонями широкополую шляпу к груди, сморщив гармошкой лоб, он пытливо вглядывался в людей. Делегаты съезда расположились группами под стрельчатыми окнами, на скамейках, стояли у стен. Гул голосов в лишенной благолепия молельне сильно резонировал под высокими сводами: «Эх, шапку бы невидимку — походить, послушать, понаблюдать». Но где там — сразу попал в объятия и отвечал разом и на приветствия и на вопросы секретаря, пристроившегося на стуле у амвона.

— От какой фракции?

— Конечно, от большевистской. Делегат с правом совещательного голоса.

И снова пожимал руки, и часто-часто моргал, стараясь смахнуть слезы. Ком в горле — от счастья, а не от восторженных возгласов, не от аплодисментов, которыми встретили его делегаты партийного съезда. К славе привык, как к необходимости. Несколько месяцев назад тысячные толпы демонстрантов в Неаполе приветствовали его восторженными возгласами: «Эввива Горький! Абассо царь!»[1] Рабочий люд Италии не отделял Горького от революции.

В горячие дни борьбы Горький был вместе с русским рабочим классом, поставив ему на службу свой талант, всего себя. Квартира писателя походила тогда на боевой штаб, только письменный стол оставался в его распоряжении — стол, на котором были созданы бессмертные гимны революции: «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике».

Горький оглядывался вокруг. Сколько в этой церкви людей в косоворотках, в сапогах! Вот они, участники боев Красной Пресни, Иваново-Вознесенска, Читинской, Екатеринославской республик, питерские пролетарии! Все такие молодые! Мартов с улыбкой трясет руку, влюбленными глазами смотрит на него. Пробраться бы к Плеханову, к Ленину. Но Владимир Ильич сам протискивается к нему сквозь толпу.

— Очень, очень рад вас видеть. «Мать» прочитал. Поздравляю.

— Плохо, плохо написал, Владимир Ильич,— окает Горький и даже «Владимир» произносит как «Володимир».— Спешил.

— И правильно, что спешили. Весьма ко времени написано. Вот только интеллигенцию вы немного идеализируете.

— Как вижу, так и пишу.

— Разглядите яснее здесь. Предупреждаю — будет драчка. Занимайте место. Мы — большевики — сидим на правом фланге, так решили наши собратья-меньшевики. Они считают себя революционнее нас.

Звонок.

На кафедре Плеханов. Строгий, элегантный, уверенный. Все стоя приветствуют основоположника русского марксизма. Он выжидает, как бы позволяет любоваться собой, терпеливо ждет, глядя чуть усталыми глазами поверх голов.

---

[1] «Да здравствует Горький! Долой царя!» *(итал.)*

Выступление Плеханова — это увертюра к съезду. О чем же пойдет разговор?

Сил пролетариата недостаточно для победы над реакцией; ему нужны союзники. Какие именно? Здесь не решить этот вопрос, его решит съезд — уловил ведущую мысль Горький.

И по тому, какой ветерок волнения пробежал по рядам, понял: в этом гвоздь вопроса.

А потом состоялись выборы президиума. Плеханов попросил снять его кандидатуру. Сказал просто, но тоном, не терпящим возражений: «Не могу присутствовать на всех заседаниях. Болен».

В президиум выбрали Ленина, Дана, представителей от польской, латышской социал-демократии и от Бунда. Пять человек.

Члены президиума сменили за столом Плеханова. Съезд аплодировал. Горький не жалел ладоней, жадно смотрел на Ленина. Очень хотелось увидеть его в деле. До этого встречались в суматошной обстановке в ноябре пятого года на заседании ЦК. Поговорить обстоятельно не довелось. В прошлом, 1906 году виделись в Гельсингфорсе на квартире Владимира Мартыновича Смирнова. Притащил тогда за собой «хвост». Нервничал, не за себя — за Ленина. Сидели в маленьком кабинете Смирнова, присматривались, прощупывали друг друга. Почувствовал, что понравился Владимиру Ильичу. Сам был несколько удивлен — не увидел ничего от «вождя», встретил просто очень умного и милого человека. Несколько дней назад, по дороге на съезд, встретились в Берлине, жарко спорили о роли и месте крестьянства, в революционность которого Горький не верил. Друг друга не убедили, но Горький познал несокрушимую волю и убежденность Ленина. Не терпелось увидеть его в действии, глубже понять его и каждого из трехсот сорока двух делегатов съезда, призванных определить путь огромной крестьянской России. Пролетариат — это понятно и близко. Но сумеет ли он, русский пролетариат, деятельный, отважный и такой еще немногочисленный, поджечь отсыревшую душу русского крестьянина? Поднять и повести за собой русского мужика — это все равно что вскипятить Ледовитый океан. Рабочему классу идти бы вместе с русской интеллигенцией — умной, жертвенной.

Но разговор об этом впереди. А сейчас не хотелось лишать себя праздничного настроения.

И вдруг, когда еще не затихли аплодисменты, возвещающие об

открытии съезда, меньшевик Дан отделился от президиума, вышел вперед, развернул листок бумаги, обвел торжествующим взглядом радостных, возбужденных людей и, приподняв руку — внимание! — стал читать выспренне, как манифест:

— «Нижеподписавшиеся делегаты... выражаем глубокое сожаление,— он сделал ударение на слове «глубокое»,— что часть съезда нашла возможным избрать в президиум Ленина...»

Следовали четыре подписи.

Горький гневно кричал вместе со всем правым флангом, негодовал, протестовал. Протестовали и многие меньшевики и большинство центра — поляки, латыши.

Дан вернулся на свое место в президиуме, сел рядом с Лениным. Ленин сидел спокойно, словно речь шла не о нем, но Горький понимал, чего стоит ему эта невозмутимость. Председательствующий Азис уже не звонил, а стучал колокольчиком, словно гвозди забивал в стол. Едва ли высокие своды церкви были когда-нибудь свидетелями такого взрыва страстей.

Продолжать работу было невозможно. Первое заседание съезда закрылось. Праздничное настроение сменилось угнетенным состоянием духа.

«Будет драчка»,— вспомнил Алексей Максимович слова Ленина. О том, что у Ленина много врагов и в самой партии, знал и раньше. Ненавидел меньшевиков непримиримо, бескомпромиссно. Но такой пакости не ждал даже от них.

В церкви бушевали страсти. Плеханов с брезгливой гримасой пробирался к выходу. Дан следовал за ним.

— Вы забываете, что мы на партийном съезде, а не на студенческой сходке. Позор! — услышал Горький сердитый голос.

Плеханов не торопясь обвязал шею шарфом, натянул пальто и, нервически сжимая в руках шапку, покинул церковь.

— Товарищи, товарищи,— уговаривал Ленин своих единомышленников,— вы преувеличиваете значение этого факта. Сражение будет идти по более важным вопросам. Спокойнее.

Горький подошел к Ленину.

— До свидания, Владимир Ильич, до завтра,— сказал он, пожимая ему руку. Говорить он не мог. Считал, что всякое слово лишнее, а сочувствие — оскорбительно.



Алексей Максимович, взяв жену под руку, шагал по вечерним улицам Лондона. Мария Федоровна понимала, что вступать с ним в разговор, когда он молчит, нельзя. Пусть остынет. А внутри у нее все клокотало от возмущения.

Алексей Максимович покашливал.

— Как страшно, Маруся,— наконец медленно произнес он.— Я чуть не полез в драку. Кричал что-то непотребное. Потом многое хотелось сказать Ильичу, но понял — слов не нужно.

— Может быть, нам зайти к нему и пригласить к себе, чтобы он не оставался в этот вечер один? — предложила Мария Федоровна.

— Нет, нет,— решительно возразил Горький,— я не удержусь, начну зверски ругаться. Ни к чему это... Побродим по улицам.

Лондон жил своей жизнью. Скрежетали тормозами на поворотах автобусы, позванивали велосипедные звонки, сияли рекламой витрины торговых фирм.

Все было как обычно, словно в этом городе ничего особенного не происходило.



БЕЗ ОГЛЯДКИ НА СЕБЯ

Горький, прислонившись спиной к колонне, остро и пытливо смотрел на Ленина. Вторую неделю он наблюдает его в действии.

Первые дни Алексея Максимовича занимал Плеханов. Он показался ему непроницаемым и загадочным. Приглядевшись острым взглядом художника, Горький увидел позу. Плеханов держал себя все время как перед фотокамерой — знал, что за ним наблюдают сотни глаз. Когда Плеханов выступал, Горький старался постигнуть уже не суть вопроса, а сущность человека, перед величием которого как-то робел.

Плеханов почти каждую фразу начинал со слова «я» и произносил его на английский манер с большой буквы.

— Я благодарю за те симпатии, которыми вы меня встретили... Я знаю, что некоторые обо мне говорят, что Плеханов уже не тот... Да, я недостаточно громко кричу «ура»,— усмехнулся он.— Но вспомните генерала Реада, воспетого Алексеем Толстым... Помните? «Вот ура мы зашумели, да резервы не поспели». Я действительно отказываюсь шуметь «ура» по приглашению большевиков. Некоторые большевики приписывают мне соглашение с абсолютизмом. Но разве я...

Рослый рабочий с кудрявой бородкой, в синей косоворотке поднялся с правой скамейки.

— Что было, то было, товарищ Плеханов,— строго сказал он.

Георгий Валентинович гневно вскинул брови. Не поворачивая головы, медленно перевел тяжелый взгляд на рабочего делегата и пригвоздил его к месту, выдерживая долгую паузу. Вздохнул. Вышел из-за кафедры, встал против дерзкого делегата.

— Товарищ! — с горестным упреком всплеснул руками Плеханов.— Вы кричите «было», и я уверен, что вы совершенно искренне кричите это. Но ведь и та старушка, которая подложила вязанку дров в костер, сжигавший Гуса, тоже была совершенно искренна. И мне подобно Гусу остается воскликнуть: «Святая простота!» Святая простота,— повторил он, возвращаясь на кафедру.

Горький сгреб длинными пальцами прядь волос, надвинул ее на глаза. Ему было стыдно. Стыдно за Плеханова.

— Ленин оказался лжепророком,— продолжал Плеханов,— когда говорил, что можно назначить вооруженное восстание на середину или конец августа девятьсот шестого года.

— Ложь! Этого Ленин никогда не говорил! Вы лжете! — кричали, топали, неистовствовали делегаты на правых скамейках.

— Ведь врешь, и зачем врешь? — допрашивал Плеханова рабочий в синей косоворотке.

Горькому стало тошно, но вместе с тем хотелось до конца проследить основную мысль Плеханова, которую он искусно продергивал сквозь лабиринт цитат, анекдотов, исторических параллелей. И Горький следил за этой ниточкой, все яснее обнажавшей неверие Плеханова и в рабочий класс, и в революцию.

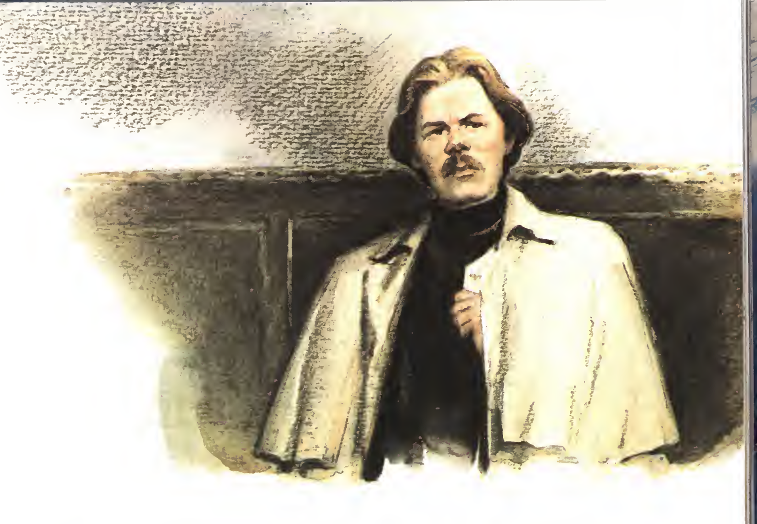
Плеханов любил себя и все в себе — и внешнюю элегантность, и холеную бородку, и изящество мысли. Каждый раз после удачного афоризма он замолкал и с восхищением следил за полетом своей мысли. Он пересыпал речь латинскими изречениями, нисколько не заботясь о том, что рабочие делегаты — а их было более ста человек — не знакомы с латынью. Часто Георгий Валентинович брался за пуговицу на сюртуке («любимую пуговицу»,— отметил Горький) и крутил ее, как подкручивают работающий на пределе механизм, хотя речь его текла плавно, блестя бархатным ворсом слов.

И за всем этим неверие, неверие, неверие...

Но ведь именно Плеханов провозгласил, что революция в России победит только как пролетарская революция. К этому звал, этому учил. Почему же произошло такое превращение? Очевидно, сказался двадцатисемилетний отрыв от родной земли, и великий революционный взрыв пятого года он тоже наблюдал из своего далека.

Разглядев позу, Горький утратил интерес к этому человеку. А потом уже не сводил глаз с Ленина.

Вот он сидит в президиуме и усердно что-то записывает в блокноте. Вид у него необычный: сбрил бороду, усы слегка обозначены и подчеркивают красивый волевой рот. И даже хорошо, что лыс, иначе волосы скрыли бы правильные формы купола головы. Чертовски молод, завидно молод, хотя всего на два года моложе его, Горького. Подвижен, насторожен. Слушает доклад Мартова. Мартов трогателен в своей искренности, в нем нет рассудочности Плеханова, его блеска, отточенности мысли. Но Мартов, сбитый с ног поражениями революции



1905 года и разуверившись в силах рабочего класса, чуть не со слезами взывает к буржуазии: «Спасите!» Горький видит, как у Ленина ходят желваки на скулах, как, слушая Мартова, он свирепеет. Мартов откровенно ищет «точек соприкосновения» с либеральной буржуазией, с кадетами.

Сколько отравленных злобой стрел пускают в Ильича меньшевики, стараясь как можно больнее ранить, оклеветать, оскорбить! Ленин отмахнулся, как от назойливой мухи, от очередного злобного эпитета по своему адресу, почесал тупым концом карандаша бровь и так застыл, боясь пропустить мысль оратора; карандаш в его руке снова энергично забегал по бумаге, иногда останавливался, начинал что-то чертить. Выпрямил спину, чуть развел плечи — устал сидеть. И вдруг подался вперед, как-то просветлел: выступает рабочий-большевик, и Ленин, слушая его, чувствует себя именинником.

Горький с нетерпением ждал выступления Ленина. Неужели не отобьет нападок от себя, не сразит противника метким, острым афоризмом, не блеснет знанием истории. Нет, едва ли. Он будет говорить

без оглядки на себя, на свое «я». Во всяком случае, не будет сравнивать себя с Яном Гусом, сжигаемым на костре. А ведь он действительно Гус и действительно на костре.

Ленин выступил. Выступил на съезде не один раз и говорил о главном — об исторической миссии пролетариата, о том, что рабочий класс должен быть вожаком, руководителем в революции.

Говорил просто, горячо, и мысль, кристально чистая, не подкрашенная красивостями, убеждала, поражала. Рабочий класс в ленинских выступлениях представал во всей силе и величии. Ленин высвобождал его крылья от тонких и крепких тенет, которыми старательно опутывали его меньшевики.

Горький наблюдал Ильича на заседаниях большевистской фракции. С какой заботливостью и почти нежностью помогал он готовиться к выступлениям рабочим делегатам, отвечал на сотни вопросов, и все это было подчинено единой цели — отстоять самостоятельность рабочего класса.

А в воскресенье ходил вместе со всеми на прогулки. До слез смеялся над немудрящими остротами бродячих циркачей, с наслаждением слушал органный концерт в Вестминстерском аббатстве и вызвался быть гидом при осмотре Национальной библиотеки Британского музея.



ГДЕ ДОСТАТЬ ДЕНЬГИ?

После особо бурного заседания, когда стало очевидно, что большевиков с меньшевиками разделяет непреодолимая пропасть, Владимир Ильич пришел к Горькому в гостиницу. Его встретила Мария Федоровна.

— Как я рада, что вы пришли! Раздевайтесь. Алеша пошел проветриться, скоро будет.

Владимир Ильич повесил пальто и шляпу, крепко, обеими ладонями провел от бровей к затылку и прошел в комнату.

Это был мрачный номер гостиницы, обставленный громоздкой мебелью. Ковер на полу, тяжелые портьеры на окнах, казалось, не менялись целое столетие и приобрели бурый, прокопченный вид. По темным тисненым обоям прыгали отсветы от камина. В комнате пахло табаком и перегоревшим каменным углем.

И на этом угрюмом фоне как-то особенно светло выделялась фигура Марии Федоровны. В светло-сером платье, с копной рыжевато-каштановых волос, она казалась яркой и чистой свечой в мрачной комнате.

— У вас не сыро? — спросил Владимир Ильич.

— Как везде в Лондоне,— ответила Мария Федоровна.

— Мне показалось, что Алексей Максимович кашляет сильнее обычного. Он не простудился?

— Нет, но здешний климат переносит плохо, а главное — изнервничался за эти дни. Ох уж и возненавидел он меньшевиков!

Владимир Ильич подошел к тумбочке, на которой были сложены стопкой простыни, пощупал их.

— Мария Федоровна, вы посмотрите, простыни совершенно сырые. Не развесить ли их перед камином? На таких простынях и здоровый человек воспаление легких схватит.

Мария Федоровна рассмеялась.

— Милый Владимир Ильич! А я вот не догадалась...

И она, придвинув поближе к камину стулья, развесила на них простыни.

— Плохая я хозяйка. И с бухгалтерией совсем запуталась.— Она показала на стол перед диваном, заваленный грудой бумаг.— Ох и ру-

гать же меня надо! Хотя в столовой торгуюсь, как на рынке, сама на кухне отбираю мясо, проверяю котлы, дегустирую. А деньги тают, тают...

— На наши интеллигентские желудки питание вполне достаточное, но для рабочих делегатов маловато. Особенно плох суп, пожевать в нем нечего.

— Да, английские супы не для русского желудка. Мы с Алешей часто скучаем и по щам, и по гречневой каше. И когда бросаем где-нибудь якорь, я сама принимаюсь стряпать.

— Как у нас с деньгами? Сколько еще можем протянуть? — спросил Владимир Ильич.

— Плохо. Протянем максимум два-три дня, и если съезд к этому времени не закончится...

— Могу заверить вас, что не закончится, хотя меньшевики, кажется, не прочь и сорвать его.

— Тогда давайте соображать.— Мария Федоровна вытряхнула из ридикюля деньги и принялась считать.

Владимир Ильич с чувством трепетного уважения смотрел на склоненное лицо Андреевой. Тонкие пальцы неумело перебирали грязные, засаленные бумажки. Волосы золотистым облаком нависали над высоким лбом, в свете камина четко вырисовывался тонкий профиль. «Готическая актриса»,— назвал ее Станиславский. «Такой актрисы я в жизни не встречал,— говорил о Марии Федоровне Лев Николаевич Толстой,— и красавица, и чудный человек». «Феномен»,— дал ей партийную кличку Владимир Ильич.

Русская женщина! Не разгаданная и никем еще по-настоящему не оцененная. Фортуна щедро наградила ее и редкой красотой, и умом, и талантом. Слава великой актрисы, всеобщая любовь и почитание всегда сопутствовали ей. И всем она пренебрегла с какой-то удивительной легкостью: без чувства жертвенности отдала себя в распоряжение революции и, столкнувшись на жизненном пути с более могучим талантом — Горьким,— не раздумывая стала служить ему, поняла, что нужна ему. И с таким же вдохновением, с каким готовила роль Кете в пьесе Гауптмана «Одинокие», принялась изучать машинопись, чтобы переписывать его рукописи; между делом, словно шутя, овладела английским языком, чтобы быть его переводчиком, чтобы не есть даром хлеб, не быть на иждивении. И не дрогнула, когда петербургское общество



отвернулось от нее — «незаконной» жены Горького; и старалась превратить в забавный фарс шумиху, поднятую американскими газетами о русской актрисе, приехавшей в Америку с Горьким; и весело болтала, когда Горький с белыми от гнева глазами покидал вместе с ней гостиницу, из которой их попросили выехать. На съезде партии не хотела быть только почетной гостьей: взяла на себя тяжелую обязанность — кормить делегатов. Присматривалась, у кого нет на смену чистой рубашки или развалились сапоги, кого нужно показать доктору или получше накормить.

Мария Федоровна подсчитала колонку цифр и вздохнула:

— Бестолковая я хозяйка, право, мне нужно вынести порицание. Эх, не вовремя ушел из жизни Савва Тимофеевич, у него можно было бы перехватить.

Савва Морозов покончил с собой, оставив в наследство Марии Федоровне свой страховой полис — сто тысяч рублей. Из них сорок тысяч ушло на оплату морозовских стипендиатов, а шестьдесят тысяч Мария Федоровна передала в кассу большевистской партии. Но это капля в море. Издание газет, брошюр, организация побегов из тюрем и каторги, вывоз революционеров за границу — все это требует огромных средств. А где их взять? До поражения революции партию содержали сами рабочие, в партийную кассу поступали также взносы литераторов, интеллигентов. А сейчас интеллигенция отшатнулась, рабочие организации разгромлены. В Америке Горький и Андреева сумели собрать не больше десяти тысяч долларов. Большую часть своего гонорара Горький передает партии.

Владимир Ильич озабоченно тер лоб рукой.

— Съезд во что бы то ни стало надо довести до конца. Нельзя ли найти в Лондоне такого же Савву Морозова?

Мария Федоровна сокрушенно развела руками:

— Мы здесь никого не знаем. Надо посоветоваться с Алешей.

Она собрала со стола бумаги, уложила их в папку и поставила на стол коробку с воздушными гильзами, распечатала пачку душистого табаку и стала машинкой набивать гильзы.

— Как хорошо, что вы не курите,— сказала она.— Я подсчитала, Алеша через свои легкие пропустил дыма больше чем от полутораста тысяч папирос. Думала, что потрясу его этой цифрой, испугается, бросит курить. Но нет, он неисправим.

— Грешен, кругом грешен, Маруся,— отозвался Алексей Максимович. Он стоял у порога комнаты, пряча в мохнатые усы довольную улыбку.— Вот не знал, что у нас такой гость,— с чувством тряс он руку Владимиру Ильичу.

— Ну, как вам нравится наш съезд? — спросил Владимир Ильич.

— Великая школа! — ответил Горький.— И какой же подленький народ эти меньшевики, и как славно, что много рабочих на съезде!

— Сто шестнадцать промышленных рабочих, и большинство на наших, правых, скамейках.

— Чем все это кончится?

— Нашей победой,— уверенно ответил Ильич.— А для этого нужны деньги, чтобы закончить съезд. Где достать деньги? Мы уже обращались к английским рабочим организациям, у них в кассе пусто, все съела забастовка.

— У меня, Владимир Ильич, денег нет, я живу, как богатый,— в долг.

— Надо выяснить, кто покровительствует церкви Братства.

— Если нужно в залог дать мое имя — я готов,— сказал Алексей Максимович.



У МИСТЕРА ФЕЛЗА

Алексей Максимович чувствовал себя неуютно и скованно в этом кабинете, где рядом с тяжелыми кожаными креслами стояли кокетливые стеклянные горки с образцами продукции: всевозможной формы куски мыла, запечатанные в яркие обертки, склянки с эссенциями, тюбики с мылом для бритья, казалось, распространяли сладковатый запах сквозь стекло. Стены кабинета были увешаны рекламными плакатами. Младенец в пышной кружевной мыльной пене восторженно обещал, что он вырастет крепким и сильным, потому что мама моет его мылом Фелза; синеокая красавица с золотыми волосами доверительно сообщала, что своей красотой она обязана кремам фабрики Фелза; розовощекий старик с пышной голубоватой шевелюрой уверял, что он сохранил и волосы и бодрость духа, употребляя жидкое мыло Фелза. Мистер Фелз, старый грузный англичанин с квадратным подбородком и седыми козырьками бровей над маленькими щелочками глаз, с обширной лысиной, аккуратно разлинованной реденькими прядками волос, зачесанными от уха до уха, был хмур и неповоротлив.

Беседу вела Мария Федоровна. Прежде чем войти в дом к Фелзу, Алексей Максимович предупредил ее:

— Переговоры веди ты, я буду только представительствовать.

— Нет,— возразила Мария Федоровна,— ты говори что угодно, даже можешь читать стихи, но чтобы англичанин видел, что я перевожу.

— Мне очень лестно познакомиться с русским писателем. Много о вас слышал, но, к сожалению, ваших произведений не читал,— признался Фелз.— Чем могу служить?

— Мистеру Горькому известно, что вы являетесь покровителем церкви Братства и фабианского общества, которое ставит своей целью социализм.

— Христианский социализм,— уточнил англичанин.

— Да-да,— поспешила согласиться Мария Федоровна.— В церкви Братства заседает сейчас съезд Российской социал-демократической партии, которая ставит своей целью построение социалистического общества.

— Христианского? — поинтересовался Фелз.

— Человеческого, народного,— пояснил Горький.

— Для окончания съезда партии необходимы деньги, и мистер Горький надеется, что вы окажете помощь и дадите заем партии,— сказала Мария Федоровна.

— Сколько же вы хотели бы получить? — спросил Фелз, отщипнув ножницами кончик сигары.

— Скажи ему: чем больше, тем лучше,— подсказал Алексей Максимович, отказавшись от предложенной ему сигары и затянувшись папиросой.

— Мистер Горький просит пять тысяч фунтов,— с самой очаровательной улыбкой произнесла Мария Федоровна.

Фелз внимательно посмотрел на жену писателя и отметил про себя, как хороша бы она была на плакате с большим куском мыла в руках.

— Таких денег у меня нет.

— Сколько бы могли дать?

— А какие гарантии я получу? — поинтересовался Фелз.

— Подпись мистера Горького и президиума съезда.

— Все эти господа имеют недвижимое имущество?

Мария Федоровна рассмеялась:

— О нет.

Мистер Фелз задумался.

— Я хотел бы своими глазами посмотреть, что это за съезд, что за люди присутствуют на нем. Тогда и решу. Могу я посетить съезд?

— Мистер Горький полагает, что это возможно.



ДВА КРЫЛА

Мистер Фелз в вечернем костюме явился в церковь. Мария Федоровна провела его на хоры, где расположились гости съезда и где их ждал Алексей Максимович.

Очередное, двадцать второе заседание съезда уже началось. В молельне стоял невообразимый шум.

— Ого,— произнес Фелз, вставив монокль в глаз,— это похоже на заседание нашего парламента при обсуждении бюджета!

Горький усмехнулся.

— Скажи ему, Маруся, что он прав: обсуждается вопрос о возможности дальнейшей работы съезда ввиду отсутствия денег.

— Меньшевистская фракция не дает согласия на продление съезда, у нас нет денег! — выкрикивал с места молодой высокий грузин.

— Мы не можем оттягивать обсуждение принципиальных вопросов,— ответил ему рабочий в синей косоворотке, тот самый рабочий, которого Плеханов взглядом пригвоздил к месту.

— Закрыть прения... Приступить к обсуждению главного вопроса... Закрыть съезд... Заслушать Ленина! — улавливал из общего шума выкрики Горький.

Мартов вскочил на скамейку и, размахивая руками, что-то доказывал. На него шикали большевики. Приставив ладони рупором ко рту, Мартов призывал на помощь председателя:

— Прошу остановить господ, которые устраивают здесь скандалы!

— Занесите в протокол, что Мартов называет нас господами! — кричали с правых скамеек.

Председатель с трудом навел порядок.

— Слово об отношении к буржуазным партиям предоставляется Владимиру Ильичу Ленину! — выкрикнул он.

И сразу наступила неожиданная тишина.

Владимир Ильич, энергично размахивая рукой, в которой сжимал блокнот, вышел к трибуне.

Большевики встретили его дружными аплодисментами. Владимир Ильич протестующе поднял руку — не будем терять времени! — сразу начал речь:

— Вопрос об отношении к буржуазным партиям стоит в центре

принципиальных разногласий, давно уже разделяющих на два лагеря социал-демократию.

Фелз сбросил в ладонь монокль, заправил за уши очки в толстой оправе, чтобы лучше разглядеть оратора.

— Вам переводить? — спросила его Мария Федоровна.

— Благодарю. Я в русских делах все равно не разберусь. Оратор из России или эмигрант?

— Приехал сюда из Петербурга.

Голос оратора звучал сильно, убежденно. Вот он вышел из-за трибуны и, протянув руку по направлению к левым скамьям, чеканит каждое слово, в чем-то обвиняет их при полном одобрении сидящих справа. Фелзу стало ясно, что оратор выражает мнение правых.

Делегаты на правой стороне оторвались от спинок скамеек, подались вперед, внимают оратору. На левых скамейках сидят вразвалку, перешептываются, бросают какие-то злые реплики, которые гневом взрывают сидящих справа. Здесь две партии, два враждебных друг другу лагеря, понимает англичанин. Сидящие в центре не устраивают обструкций оратору, но они не едины. Вот впереди человек в очках, по виду европейский интеллигент. Он прислушивается, подставив согнутую ладонь к уху, не выражая ни своего одобрения, ни протеста. Но вот, кажется, речь оратора захватывает и его, в чем-то убеждает. Он все чаще в знак согласия кивает головой и досадливо машет рукой, когда начинаются выкрики слева.

Горький забыл об англичанине. Забыл обо всем. Опершись подбородком на сложенные одна на другую ладони, он слушает Ильича и чувствует, как очищается от сомнений, как приводит в порядок собственный строй мыслей. Так бывает в дороге на рассвете, когда мгла стирает очертания пейзажа,— о нем догадываешься, его стараешься представить. Кажется, что небо светлеет над высокими вершинами гор, дорогу впереди прерывает овраг и вокруг непроходимая чащоба. Но вот всходит солнце, и то, что принимал за горы, оказывается густой грядой облаков, а там, где, казалось, залегли тучи, вырисовывается вдруг горный хребет и густой, непроходимый лес превращается в стройный чистый бор.

В речи Ленина четко и зримо предстают общественные силы России в революции. Все становится на свое место. Ленин выводит пролетариат в авангард. Вот его место в истории. Его союзник против царя и помещика не буржуазия, а крестьянство.

Горький видит, как речь Ленина сплачивает силы большевиков, дробит левый, меньшевистский, фланг, отрывает одного за другим представителей центра.

Теперь уже видно, что многие делегаты в косоворотках, в рабочих пиджаках неловко себя чувствуют среди меньшевиков: они сердцем и умом с сидящими справа, с большевиками. И центр уже явно на стороне Ленина.

Ильич не поучает — он анализирует, не подбирает эпитеты в отношении меньшевиков, а вышелушивает из их многословных выступлений основные положения и доказывает их несостоятельность. Слышишь не то, как он говорит, а что он говорит: слова, заряженные большой мыслью, превращаются в идею, которая овладевает умами, очищает, воодушевляет.

Мария Федоровна взглянула на Алексея Максимовича. Он вытирал ладонями слезы. Так бывает с ним всегда, когда он открывает для себя чудо, созерцая великое творение художника. Он по-настоящему счастлив, а когда счастлив — плачет.

Ленин закончил речь:

— ...пролетариат пойдет дружнее и смелее на новую социалистическую революцию.

— Хорошо, Маруся, хорошо,— говорил Горький, аплодируя Ильичу.— Словно топал по болоту, застревал в камышах, дышал гнилостными испарениями, и вдруг тебя подхватило могучим потоком и вынесло на раздолье, на чистый воздух. Ах, как хорош Ильич!

Фелз поднялся с места и, засовывая очки в футляр, сказал:

— Это удивительный оратор! Он меня в чем-то убедил, хотя я не понял ни одного слова. Но я увидел сильного лидера и увидел две враждебные друг другу партии. Для какой же из них мистер Горький просит заем?

— Для обеих,— пояснила Мария Федоровна.— Это две фракции одной партии, два ее крыла.

— Одно крыло орлиное, а другое — летучей мыши,— заметил Горький, обращаясь к Марии Федоровне.

— Все делегаты из России? — прикидывая что-то в уме, спросил фабрикант.

— Да,— ответила Мария Федоровна,— за исключением нескольких человек, которые постоянно живут в эмиграции.



— Ну что ж,— сказал Фелз,— наша община называется Братством, и мы должны помогать друг другу. Я дам заем, но под солидные гарантии.

— Какие?

— Заемное обязательство должны подписать все участники съезда и указать, какой организацией и из какого города они делегированы.

— Но это может причинить им большие неприятности. Все они разыскиваются полицией, и если этот список попадет в руки царского правительства...— возразил Горький.

— Мне нужны крепкие гарантии,— холодно ответил Фелз.— Если делегаты выполнят взятое на себя обязательство и вернут мне долг, им ничего не грозит. Я даю вам мои капиталы, члены съезда дают мне в залог свою безопасность, русский писатель — свое имя.

Горький помрачнел. Капиталист понимал, что самая большая драгоценность для этих людей — свобода.

— Сколько при этих условиях вы можете дать? — спросила Мария Федоровна.

— Семнадцать сотен, не больше...

Перед началом вечернего заседания делегаты съезда подписывали заемное обязательство — подписывали кличками и фамилиями, под которыми выступали на съезде.



ВСЕ СТАЛО ЯСНО!

Поздно вечером Владимир Ильич вернулся в гостиницу. В вестибюле его дожидались Алексей Максимович и Мария Федоровна.

— Ну как, выдал деньги ваш мыловар?

Мария Федоровна, сияющая, как после успешной премьеры, взяла под руку Владимира Ильича. Вошли в номер. Андреева не торопясь стянула лайковые перчатки и стала выкладывать на стол деньги. Владимир Ильич перебирал пачки и радовался как ребенок.

Горький сидел в стороне и, положив шляпу на колени, от души смеялся. Никогда он не думал, что такого бессребреника, как Владимир Ильич, могут обрадовать эти зеленые и синие продолговатые бумажки.

— Какое счастье! — повторял Владимир Ильич.— Теперь мы сможем продолжить работу съезда. И безусловно, победим!

Мария Федоровна бережно укладывала деньги в ридикюль.

— Как дороги бывают эти проклятые деньги! — заметил Горький.

— Да, да,— подхватил Ильич.— Теперь съезд закончит работу, мы обеспечим делегатам обратный выезд. Спасибо вам.

— Вы не представляете себе, Владимир Ильич, как начинил меня этот съезд. Как все прояснилось и как все встало на свое место. Спасибо вам.— Алексей Максимович крепко сжал руку Владимиру Ильичу.

— Спасибо, спасибо,— растроганно благодарил Владимир Ильич Андрееву.— И не потеряйте, пожалуйста, ридикюль.

Мария Федоровна звонко рассмеялась и прижала сумку к груди.

Горький с женой вышли из гостиницы; моросил мелкий дождь, тускло светили фонари. Алексей Максимович поднял голову. В освещенном окне стоял Владимир Ильич. Горький снял шляпу и широко помахал.

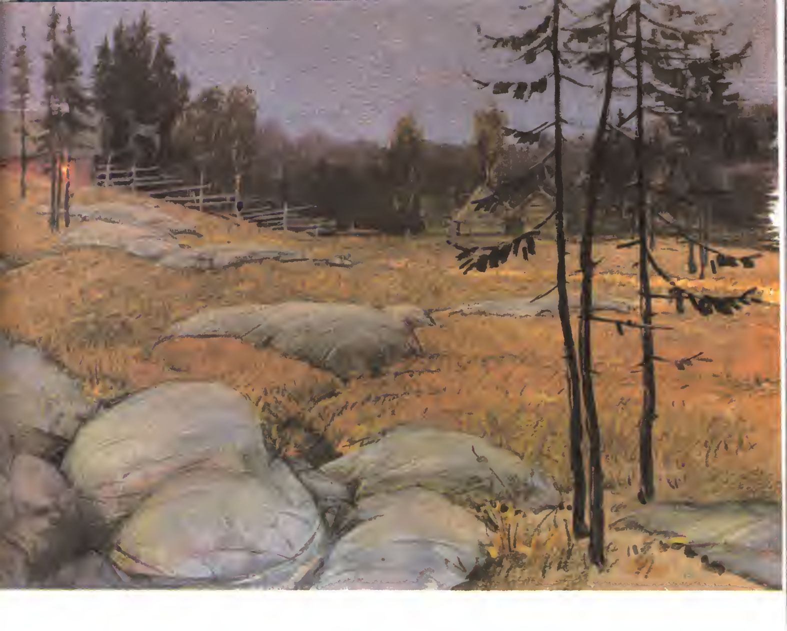
Владимир Ильич показывал знаками, чтобы Горький поднял воротник пальто и водрузил на место шляпу, укоризненно покачивал головой: мол, простудитесь.

Горький надвинул на глаза шляпу, поднял воротник и, не отрывая глаз от освещенного окна, тихо произнес:

— Ах, Маруся, как хорош Ильич! Великое дитя окаянного мира сего!



Домик на скале



ПОЗДНИЙ ГОСТЬ

Вальс Сибелиуса звучал празднично, молодо, и фрекен Анна попросила сестру исполнить его еще раз.

Был субботний вечер. Сестры отдыхали.

Фрекен Анна всю неделю растолковывала студентам правила спряжения немецких глаголов и теперь, удобно устроившись в глубоком кресле, вышивала. Сонни тоже наскучили ежедневные музыкальные упражнения с учениками, и она еле дождалась субботнего вечера, чтобы разучить новый вальс любимого композитора.

Обе женщины были уже немолоды: у фрекен Анны серебрились виски, фрекен Сонни по утрам тоже с опаской поглядывала в зеркало. За последние десять — пятнадцать лет в жизни сестер Винстен мало что изменилось: попугай все так же красовался в своей клетке и выкрикивал все те же давно заученные слова; карликовые кактусы не росли и не старели; увеличилось лишь число вышитых Анной подушечек, да темнее становилось с каждым годом в комнатах от разросшегося вокруг леса. По-прежнему приходили и уходили ученики и квартиранты, грозные события в мире проносились стороной, как проносится ураган или гроза. И если бы не зеркало, можно было подумать, что жизнь в этом домике остановилась...

В гостиной было тепло и уютно. На фортепьяно и на круглом столе горели свечи, и причудливые тени трепетали по стенам. Попугай, засунув клюв в перья, покачивался в кольце; белый шпиц, похожий на большой клубок шерсти, дремал у ног Анны.

Трудно было поверить, что за стенами дома угрюмо шумят голые деревья и ноябрьский ветер сметает с мокрых скал желтые листья.

Прогромыхал поезд, и свисток паровоза пронизал лес.

Анна принялась сматывать нитки: когда через станцию Оглбю проходит вечерний почтовый поезд, значит, пора идти спать.

Прозвучали заключительные аккорды. Сонни опустила руки на колени. Грохот поезда всегда напоминал, что совсем близко, в двенадцати километрах отсюда, в Гельсингфорсе, еще шумно. Там только начинается разъезд из театра.

— Как давно мы не были с тобой в опере, мне так хочется послушать петербургских артистов! — пожаловалась Сонни, повернувшись на круглом табурете к сестре. В ее синих глазах засверкали слезы.— Мы давно с тобой не веселились, так редко бываем в обществе.

— Не надо гневить бога,— строго заметила Анна,— нам хорошо и здесь. Я привыкла к тишине и покою. Покой сейчас главное в жизни.

И, словно наперекор ее словам, шпиц вдруг хрипло тявкнул, а попугай повернул голову набок и сверкнул настороженным глазом. «Карл, Свен, Юхан, сюда!» — закричал он по-хозяйски басом.

По каменным плитам дворика кто-то шел. Сестры переглянулись: кто мог быть в такой поздний час?

Раздался стук в дверь. Попугай воинственно завертел головой и продолжал сзывать мужчин.



Анна взяла со стола тяжелый подсвечник и, загораживая пламя рукой, пошла в переднюю. Сонни шествовала за ней, молитвенно сложив руки.

— Во имя святой девы, кто это? — спросила Анна по-шведски.

— Друг госпожи Колан, инженер Петров,— ответил спокойный мужской голос с сильным славянским акцентом.

Анна боязливо открыла дверь.

Пламя свечки на тоненьком фитильке затрепетало и чуть не погасло.

— Добрый вечер! — произнес незнакомец, сняв блестевший от дождя котелок. Лысеющий высокий лоб и светлые усы совсем не старили его, живые темные глаза смотрели мягко и приветливо.

— Добро пожаловать! — ответила Анна и пригласила гостя пройти в комнату.

Шпиц отправился спать на свою перинку, а Сонни накрыла клетку попугая темным платком, и он замолчал.

— Это покойный отец научил попугая кричать, чтобы непрошеные гости думали, что мы с сестрой не одни в доме,— объяснила Сонни, как бы извиняясь за попугая.

Незнакомец понимающе кивнул головой.

— Фру Колан сообщила мне, что вы можете сдать комнату с полным пансионом и что мне можно явиться к вам даже в такой поздний час,— сказал он хозяйкам и попросил разрешения говорить по-немецки.

— Да, да, фру Колан говорила нам о вас. Мы можем отвести вам комнату во флигеле, там живут два финских студента, но они приходят только ночевать...— Сонни уже совсем успокоилась.— Как вы нашли дорогу в темноте? — поинтересовалась она.

— Фру Колан очень подробно описала мне, как пройти от станции к пансиону «Гердобакка». Я мог бы найти ваш пансион с закрытыми глазами.

За два дня до этого у сестер побывала фру Колан, подруга юности Анны. Теперь она была замужем за финским офицером и жила в Гельсингфорсе. Фру Колан попросила сдать комнату русскому инженеру, весьма благовоспитанному человеку, которого ей рекомендовала почтенная старушка «Виргиния Смирноф».

Анна накинула на плечи шаль и пригласила нового квартиранта во флигель.

— У господина Петрова приятные манеры, и он, видно, интеллигентный человек,— поделилась с сестрой Анна, вернувшись из флигеля.— Он раскрыл саквояж, и я увидела там книги. Он сказал, что целые дни будет писать и по вечерам выходить на прогулку в лес. Я пригласила его обедать с нами...

— Может быть, он русский революционер? — боязливо спросила Сонни.

— Я уверена в этом,— спокойно ответила Анна.

Сонни испуганно взглянула на сестру:

— Но подумай, что пишут газеты!

Газеты приносили из России страшные вести. Смертные приговоры, казни, погромы. Русский царь жестоко мстил народу за революцию. Говорили, что царь собирается отнять у финнов их конституцию, русские жандармы уже без стеснения заглядывают в Финляндию.

Анна подняла глаза на картину, висевшую над диваном: белокурая девушка с такими же синими, как у Сонни, глазами держит в руках книгу «Финляндская конституция», а огромный злющий орел распластал над головой девушки черные крылья, пытается вырвать книгу из ее рук и вонзить когти в обнаженные плечи...

— Конечно, инженер Петров здесь не случайно,— задумчиво говорит Анна.— Иначе зачем бы фру Колан просила никому не рассказывать, что у нас живет русский.

...Владимир Ильич осмотрел свое новое жилище. Перед окном — письменный стол, у противоположной стены — узкая кровать, возле нее умывальный столик с большим фаянсовым тазом и кувшином. У стены, напротив двери,— диван, заваленный множеством вышитых подушечек, перед диваном — круглый стол. Справа от двери угол комнаты занимает зеленая изразцовая печь.

Владимир Ильич вынул из жилетного кармана часы и завел их ключиком. Был первый час ночи — пожалуй, еще можно поработать. Снял пиджак, повесил на вешалку, вынул из саквояжа люстриновую куртку, порядком поношенную, надел ее и уселся за стол...

Тяжелые капли дождя шлепаются в стекла и извилистыми ручейками сбегают вниз. За окном мечутся по ветру черные тени ветвей.

Перед глазами Владимира Ильича возникает огромная Россия. Миллионы разоренных крестьянских дворов. Темные, униженные мужики, тоскующие по земле. А земля в руках помещиков и кулаков, и почти у каждого более пятисот десятин лучшей земли.

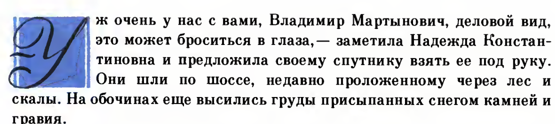
В дни революции крестьяне жгли помещичьи усадьбы, восставали против рабской жизни, забирали в свои руки землю.

Теперь революция подавлена. Озверевший царизм пытается снова загнать народ под ярмо. Партия большевиков готовится к новому штурму. Как вызволить крестьянина из беды? Советчиков у мужиков много, в друзья набиваются все. Но кто из них честен, бескорыстен? Только рабочий класс, большевики.

Путь, который предлагают большевики,— это уничтожение помещичьих владений, передача всей земли в собственность государства. Но не царское правительство помещиков и капиталистов должно распоряжаться землей. Без свержения царизма земля не станет народным достоянием. Рабочие и крестьяне совершат эту революцию, и рабочий класс будет ее руководителем. Этот вывод надо доказать, научно обосновать и прежде всего разбить аграрные программы лжедрузей крестьянства — октябристов, кадетов, эсеров, меньшевиков...

Чуть постукивая полусогнутыми пальцами по столу, Владимир Ильич что-то говорит шепотком, затем обмакивает перо в чернила и начинает писать...

ОГОНЬ



Уж очень у нас с вами, Владимир Мартынович, деловой вид, это может броситься в глаза,— заметила Надежда Константиновна и предложила своему спутнику взять ее под руку. Они шли по шоссе, недавно проложенному через лес и скалы. На обочинах еще высились груды присыпанных снегом камней и гравия.

— В прошлом году здесь по ночам гремели взрывы,— сказал Владимир Мартынович, поглядывая на покрытые инеем гранитные скалы по обеим сторонам дороги.

Надежда Константиновна кивнула головой. На финляндской земле, усеянной древними валунами, без динамита дороги не проложишь.

— Дорогу, по которой мы с вами шагаем, прокладывали большевики,— неожиданно добавил Владимир Мартынович.

Надежда Константиновна вопросительно посмотрела на своего спутника. Его повадку говорить загадками она знала.

— Наши боевики изобрели в прошлом году новые бомбы,— продолжал Владимир Мартынович,— готовились к вооруженному восстанию. Ну, а пока новое оружие не испытано, его и за оружие считать нельзя. Где же его испытать? Мы узнали, что финны строят здесь шоссе и взрывают по ночам скалы. И вот наши боевики «включились» в строительные артели. Финны диву давались — заложат динамит в одном месте, а взрывы происходят... в двух местах. Это наши испытывали бомбы. Финны до сих пор не знают, что большевики помогали им прокладывать дорогу.

— Большевики многим помогают прокладывать путь,— задумчиво сказала Надежда Константиновна.— Может быть, нам пора разойтись в разные стороны? За поворотом виден поселок. Это и есть Оглбю?

— Да, да, я объясню вам, как пройти дальше. Здесь я уже примелькался. Лучше вам идти одной.— И Владимир Мартынович показал дорогу.

— Надеюсь, сестры Винстен впустят меня,— сказала Надежда Константиновна.— Обратно в Гельсингфорс я доберусь сама. Спасибо вам.

Они распрощались.

Надежда Константиновна, засунув руки в муфту, пошла вперед. Владимир Мартынович долго смотрел ей вслед.

В комнате холодно, на подоконнике наросты льда. Печка полна дров. Под дровами — горка березовой коры, на печном карнизе — коробок со спичками. Владимир Ильич подносит зажженную спичку к коре, и березовые шкурки, сердито треща, свертываются в тугие катушки. Огонь слизывает прозрачную шелуху, цепляется за шероховатую поверхность поленьев и прирастает к ним. И вот уже задрожали, заискрились сизо-желтые астры огня. Мокрое полено брюзгливо зашипело, запузырилось, огонь проворно отскочил и, вытянувшись плашмя под сырым поленом, пополз к задней стенке печки... В комнату выбился горьковатый запах дегтя.

Владимир Ильич прикрыл решетчатую дверцу печки — огонь забурлил, заревел, железная решетка заходила ходуном и отчаянно задребезжала. Ярко-красные угольки стали вываливаться из отверстий решетки, они падали на медный поддон и мгновенно покрывались серым пушистым пеплом.

Владимир Ильич не заметил, как дверь в комнату открылась.

— Я так и знала, что ты и здесь уговоришь хозяев доверить тебе печку.

Владимир Ильич быстро обернулся:

— Надюша! — и протянул обе руки навстречу Надежде Константиновне.— Как я рад, что ты здесь! Никак не думал, что сегодня приедешь.— Он помог ей снять пальто и пододвинул стул поближе к огню.— Садись сюда, милый друг, у тебя совсем застыли руки. Я сейчас попрошу чаю.

Надежда Константиновна осмотрелась. Опять новое пристанище. Сколько же за последние два года, спасаясь от шпиков и преследований охранки, Ильич сменил квартир, мест ночевок! Она задумалась. Кажется, квартир двадцать, если не больше...

Она села перед печкой. Огонь освещал ее усталое лицо.

— Ну, как ты? — спросил Владимир Ильич, вернувшись от хозяйки и вглядываясь в лицо жены.

— А тебя по-прежнему мучает бессонница? — вместо ответа спросила она.

— Нет-нет, сплю как сурок.

— Что-то не верится, ты дурно выглядишь. Много работаешь.— Надежда Константиновна посмотрела на большие стопки книг и журналов, разложенные на столе и стульях, и груду отчетов Государственной думы на подоконнике.— Откуда столько?

— Большая удача, Надюша: Владимир Мартынович снабжает. Вчера привез даже отчеты Думы. А рукописи мои печатает барышня из императорского финляндского сената — тоже его забота. И представь себе, барышня из сената делает эту сверхурочную работу довольно дешево.

Фрекен Анна торжественно внесла поднос с чашками и печеньем и пригласила к столу.

Надежда Константиновна с большой похвалой отозвалась о сахарных крендельках, горкой уложенных в сухарнице, и фрекен Анна расцвела от удовольствия.

— А ты по-прежнему сладкогрызка! — заметил Владимир Ильич.

Хозяйка ушла, и Надежда Константиновна смогла рассказать о положении в Питере. Проваливаются одна за другой типографии, целые партийные группы. Видно, охранке удалось внедрить провокаторов в партию. Жандармерия получила приказ перейти границу и действовать в Финляндии «как у себя дома». Против большевиков натравлены отборные полицейские силы.

Надежда Константиновна вынула из-под подкладки муфты пачку писем, протянула их Владимиру Ильичу.

— Читай, а я пока наведу порядок в твоем хозяйстве,— сказала она и, сняв с вешалки пиджак, принялась укреплять на нем пуговицы.

— Ты чем-то обеспокоена? — спросил Владимир Ильич, чувствуя, что Надежда Константиновна взволнована.— Ну-ка, признавайся, почему приехала на два дня раньше? Почему нарушила «конвенцию»?

— Просто так, соскучилась...

— А еще почему? — допытывается он.

— А еще... еще товарищи просили передать тебе циркуляр департамента полиции, в устной копии, конечно. В нем много забавного.— Она отложила пиджак в сторону.— Послушай-ка, что там написано: «Владимир Ильич Ульянов, псевдоним Н. Ленин. Потомственный дворянин. Православный...»

— Ну, это как сказать,— пожимает плечами Владимир Ильич.

— «Женат, роста среднего».



— Это правильно.

— «Бло-о-ндин»,— смеется Надежда Константиновна и посматривает на рыжеватые усы Владимира Ильича.

Смеется и он.

— «Возраст сорок два — сорок четыре года».— Эти слова она произносит уже совсем лукаво.

— Вот это возмутительно. Это просто черт знает что такое.— Владимир Ильич встал и прошелся по комнате.— Надюша! Неужели мне и в самом деле можно дать на пять — семь лет больше? А? Теперь я понимаю, почему шпики на меня часто поглядывают в недоумении. Им, наверно, говорят, что глаза у меня голубые и кудри вьются хмелем... Ну-ну, а дальше?

— Дальше? Дальше написано вот что: «...того Ульянова арестовать, обыскать и препроводить в распоряжение следователя 27-го участка города Санкт-Петербурга».

— Так и написано: «Препроводить»?.. Ну, это не выйдет!

Владимир Ильич снова зашагал по комнате.

— От какого числа циркуляр? — спросил он быстро.

— От двадцать третьего июня тысяча девятьсот седьмого года.

— Сегодня ноябрь, а циркуляр до сих пор не исполнен.

— И нельзя допустить, чтобы он был исполнен,— заметила Надежда Константиновна.

— Совершенно верно. Значит, мне надо дописать аграрную программу и подготовиться к тому,— он чуть помедлил,— чтобы выбраться в зону недосягаемости. Давай-ка подумаем, кому ты можешь передать свои дела в Питере и что еще надо сделать.

Они занялись обсуждением неотложных дел, и замороженное окно в домике на гранитной скале искрилось и мерцало до самого рассвета.



НЕПРАВИЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ

С тяжелой корзиной, нагруженной провизией, фрекен Анна подошла к газетному киоску на Сенатской площади. Дважды в неделю приезжает она за продуктами в Гельсингфорс; сегодня надо еще купить газеты инженеру Петрову.

Афиши с заголовками газет наклеены по обеим сторонам киоска на огромных щитах. «Восшествие на престол шведского короля Густава-Адольфа». Анна перекрестилась, она была набожной шведкой. «Во Владивостоке двадцать матросов приговорены к смертной казни и двадцать четыре к каторге. В Варшаве к смертной казни приговорено четыре мятежника». Она перевела взгляд на другую афишу. «В Киеве исключено из университета 700 студентов и 1500 курсисток с женских курсов». «В Кутаиси закрыты все учебные заведения». «В Москве за невзнос платы за обучение исключено 1398 студентов». «В Московский университет введена полиция»...

Наскоро отобрав пачку газет на русском, шведском и немецком языках, она кивнула проезжавшему мимо извозчику. Хотелось поскорее оставить эту площадь с бронзовым русским царем на пьедестале, выбраться из города, не видеть этих сообщений о казнях, отгородиться от всех ужасов. Страшно подумать, что творится в России...

Когда фрекен Анна вернулась домой, ее квартирант уже дожидался в гостиной. Он тут же взял газеты и начал быстро их просматривать. В «Петербургской газете» отчеркнул карандашом сообщение: «23 ноября в Питере бастовало 11 тысяч рабочих в знак протеста против суда над социал-демократической фракцией Государственной думы». Какая нужна беззаветная вера в свою партию, чтобы в обстановке такого жесточайшего террора поднять голос в защиту партийных представителей! Рабочие верят своей партии. Просматривая кадетскую «Речь», Владимир Ильич усмехнулся. Любопытно! На станции Келломяки агенты охранного отделения произвели обыск на даче какого-то Ульянова. «Решили, наверное, что я в Финляндии снимаю дачу на свое имя».

Он бросил «Речь» на стол, но взгляд его задержался на объявлении в широкой рамке. Кадетская газета приглашала покупать сочинения Карла Маркса и Фридриха Энгельса.

Владимир Ильич рассмеялся. Вот что значит коммерция! Газета

выступает против большевиков, предает анафеме марксистов и в то же время призывает покупать марксистскую литературу. Не мудрено — за объявления платят деньги, и немалые.

Анна выкладывала из корзины покупки и с недоумением смотрела на квартиранта.

— Что вас так развеселило, господин Петров?

— Прочитал забавное объявление. Любители наживы дешево продают свои принципы, фрекен Анна.

— О господин Петров, напротив, все ужасно подорожало, особенно молоко. Городские газеты призывают покупателей устроить бойкот и не покупать молока, пока на него не снизят цены.

— Боюсь, что это не поможет. Покупатели разрозненны, а молоком торгует объединение...

В гостиную вбежала Сонни: на ней был фартук, в руках большая деревянная ложка.

— К нам идет констебль и с ним русский полицейский,— сообщила она срывающимся голосом.

«Карл, Свен, Юхан, сюда!» — закричал попугай.

Владимир Ильич быстро встал со стула, подошел к Сонни и притронулся к ее руке:

— Пожалуйста, будьте спокойны. Примите их как следует и поговорите...

— Но я должна их пригласить в эту комнату! — с отчаянием воскликнула Сонни.

— Конечно,— подтвердил Владимир Ильич.

— А вы?

— Обо мне не беспокойтесь, я останусь под защитой фрекен Анны,— ободряюще улыбнулся инженер Петров.

Сонни набросила на продолжавшего кричать попугая темный платок и, ничего не понимая, вышла в переднюю, чтобы встретить непрошеных гостей.

Когда она ввела констебля и полицейского в гостиную, она увидела, что квартирант сидит за ученическим столом, лицом к окну, и, подперев щеку левой рукой, что-то старательно пишет.

Анна сидела по другую сторону стола с раскрытои книгой в руках.

— Это хозяйка пансиона фрекен Финстен.— Констебль отрекомендовал Анну русскому полицейскому.— Она учительница немецкого



языка, всеми уважаемая барышня. Мы не помешали вам, фрекен Анна?

— Надеюсь, что нет,— спокойно ответила Анна.— У меня урок. Все необходимые справки вам даст сестра.

Сонни тем временем ждала, пока констебль договорится с полицейским — они объяснялись по-русски,— и посматривала на Анну.

— Назовите мне неправильные глаголы первого спряжения второго класса,— сказала Анна по-немецки своему ученику.

Инженер Петров ответил:

— Неправильный глагол ершрекен[1]. Ершрекен, ершрак, ершрокен. Но я, фрекен Анна, предпочитаю употреблять этот глагол с отрицанием. Алзо, вир хабен унс нихт ершрокен[2].

— Совершенно верно,— подтвердила учительница. Она вполне овладела собой и придирчиво спрашивала ученика, искренне удивляясь его великолепному знанию немецкой грамматики.

Русский полицейский записал фамилии двух студентов, которых назвала Сонни, и оглянулся, чтобы получше разглядеть ученика фрекен Анны.

Тот сидел вполоборота, не отнимая руки от лица, и читал по-немецки. Полицейский заметил только лысеющую голову студента.

— Что это за человек? — спросил он у констебля.

— Финский студент,— ответил тот.

Полицейский осведомился у Сонни, не приходил ли к ним русский, по фамилии Ульянов, или Ильин, а может быть, Ленин, возможно даже,— полицейский полистал тетрадь,— Карпов, мужчина огромной силы и с громовым голосом.

— Нет, нет,— убежденно ответила Сонни,— такой человек к нам не являлся.

Анна отметила, как весело смеялись глаза инженера Петрова.

Русский полицейский строгим тоном через констебля передал Сонни, что, если такой человек у них появится, они должны немедленно заявить в полицию.

Собравшись уходить, он еще раз исподлобья бросил взгляд на ученика фрекен Анны. Студент что-то с увлечением читал, словно был

---

[1] Пугаться *(нем.)*.

[2] Итак, мы не испугались *(нем.)*.

в комнате только вдвоем с учительницей. Анна кивала в такт чтению головой и, забыв о полицейских, повторяла вслед за инженером Петровым:

Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой!
Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной
Дитя и муж, и старец пусть ведет...[1]

— Крамольная картинка,— буркнул полицейский констеблю, указывая на изображение белокурой девушки с книгой в руках.— Власти в Петербурге за распространение этой картинки весьма строго карают. Да-с! Обратите внимание,— приказал он констеблю.

Проводив полицейских, Сонни, обессиленная, опустилась на стул. Она чуть не плакала от пережитого волнения.

— Что будет? Что будет? Он так пристально смотрел на вас, господин Петров. Констебль тоже был чем-то смущен.

— Все прошло отлично, уверяю вас,— успокаивал встревоженных хозяек Владимир Ильич.— А вы действительно мужественные женщины.

— Алзо, вир хабен унс нихт ершрокен! — повеселевшим голосом ответила Анна.

Под вечер пришел Владимир Мартынович. Он был взволнован и заикался больше обычного.

— Я привез плохие вести, Владимир Ильич. У меня только что была барышня из сената — та, что перепечатывает ваши рукописи. Сегодня она печатала решение императорского финляндского сената о выдаче царскому правительству всех русских революционеров.

— Что ж, от финляндской буржуазии иного и ждать было нечего. Вы предупредили товарищей?

— Да, да. Кроме того, приезжал товарищ из Питера и просил вам передать, что петербургская судебная палата вынесла приговор об уничтожении книги «Две тактики». Вынесено решение о конфискации вашего сборника «За 12 лет», и возбуждено дело о привлечении автора книги к суду.

---

[1] Гёте, «Фауст».

— И как мне кажется, охранке стало известно мое местопребывание... Давайте-ка подумаем, дорогой Владимир Мартынович, как поступить дальше.— Владимир Ильич прошелся по комнате.— Очень прошу вас помочь Надежде Константиновне выбраться в Стокгольм. Ей понадобится несколько дней на организацию дел в Петербурге. Я выеду в Швецию немедленно. Мне нужен паспорт, лучше немецкий. Уйду отсюда следом за вами. Хозяйкам скажу, что поехал в Гельсингфорс по делам и скоро вернусь. Вам же нужно будет приехать сюда завтра и расплатиться, забрать книги. Сейчас не следует создавать впечатления моего бегства. Это обеспокоит хозяек — они и так сегодня поволновались.

— Опять в Швейцарию? — спросил Владимир Мартынович.

— Да-да, в сонную, затхлую Женеву, в растреклятую эмиграцию.



ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА

Пассажиры почтового поезда Гельсингфорс — Або дремали под равномерное постукивание колес, удобно устроившись в креслах. Был одиннадцатый час ночи. В купе вместе с Владимиром Ильичем ехали пожилые люди — муж и жена. Муж спал, прикрыв лицо носовым платком, и звучно храпел. Его жена, чопорная шведка, слегка толкала мужа в бок и озабоченно поглядывала на многочисленные баулы и саквояжи. Глаза ее стали все чаще и чаще закрываться, и, привалившись к плечу мужа, она тоже заснула.

Владимир Ильич, сидя в кресле, казалось, дремал. Иногда он открывал один глаз и посматривал на фотографию какого-то собора, висевшую в рамке под стеклом на противоположной стене купе. Не поворачивая головы к двери, он, словно в зеркале, видел на блестящей поверхности фотографии отражение прогуливающегося по коридору мужчины. Движения мужчины были неторопливы, одет он был в хороший костюм, высокий белый воротничок плотно облегал его жилистую шею. Внимание Владимира Ильича привлек нарочито равнодушный вид этого странного пассажира. Перед каждой остановкой поезда и во время остановок он проходил мимо застекленной двери купе и скользил по фигуре Владимира Ильича оловянным, равнодушным взглядом. «Шпик,— определил Владимир Ильич,— и, несомненно, из питерских, натренированный. «Недремлющий». Я его даже где-то видел».

Когда поезд остановился, Владимир Ильич надел пальто, шапку и направился к выходу. «Недремлющий» шагал по коридору.

Увидев своего поднадзорного в пальто, шпик растерялся, но затем опрометью бросился в свое купе, схватил пальто и, никак не попадая в рукава, опять выскочил в коридор. На площадке он чуть не сбил с ног задержавшегося Владимира Ильича.

Предположение Владимира Ильича оправдалось. За ним следили.

На следующей остановке Владимир Ильич снова вышел прогуляться и больше уже не снимал пальто, тем более что в вагоне заметно похолодало.

На одной из остановок он заметил вторую пару оловянных глаз.

«Прислали подкрепление»,— отметил Владимир Ильич.

Теперь сыщики выходили на остановках по очереди.

Поезд прибыл на станцию Литтойнен. Это была последняя остановка, а там уже Або — западный пограничный пункт княжества Финляндского, тупик Российской империи. Там кончался железнодорожный путь.

У города Або река Аура сливалась с водами Ботнического залива. Дальше была только одна дорога — по морю.

На станции Литтойнен Владимир Ильич вышел на перрон и стал прогуливаться — точно так же, как он это делал раньше, на предыдущих станциях. Теперь, пожалуй, он шагал чуть медленнее и был более задумчив.

Оба шпика ходили за ним по пятам. Еще бы! Не хватало, чтобы на последней остановке перед Або поднадзорный ушел из их рук.

Раздался второй звонок. Владимир Ильич не торопясь поднялся в вагон и прошел на свое место.

Третий звонок, свисток — и поезд тронулся.

«Недремлющий» заглянул в купе, уже не таясь и не стесняясь. Его поднадзорный сидел в своем кресле и изучал пароходное расписание, разложенное на столике.

Филер тихонько хихикнул и зашел в купе к напарнику.

В Або все должно быть подготовлено: пока подойдут агенты охранного отделения, он с напарником схватит поднадзорного за руки, а у вокзала за углом их ожидает полицейская карета.

Поезд набирал ход.

Вскоре в окне вагона замелькали портовые огни Або.

— Я пойду в конец вагона и буду идти сзади него, а ты выходи вперед,— распорядился «Недремлющий».— Да смотри в оба: прозеваешь, голову оторвут.

«Недремлющий» прошелся по коридору и бросил взгляд в знакомое купе. Пожилой швед снимал с полки корзины, баулы, саквояжи. Его жена водрузила себе на голову шляпу и прикалывала ее огромной булавкой к волосам. Супруги загородили все купе, и шпик не сразу мог разглядеть своего поднадзорного. Он прошел дальше по коридору и, возвращаясь обратно, вновь заглянул в купе и тут обнаружил, что е г о не видно. Что за оказия?

Предчувствуя что-то неладное, шпик рванул дверь в купе, грубо отстранил супругов и почти ткнулся носом в пустое кресло у окна. К ужасу своему, он понял, что е г о в купе нет...



На столе лежало раскрытое пароходное расписание Або — Стокгольм. «Недремлющий» тронул пальцами оконное стекло — стекло было на месте.

Филер метнулся к себе в купе.

— Его там нет,— только и мог он произнести.

Оба шпика ринулись в тамбур.

Проход в другой вагон был закрыт, об этом они позаботились раньше, чтобы поднадзорный не мог пройти в другие вагоны на ходу поезда.

«Недремлющий» выглянул с площадки наружу.

Мимо проносились темные силуэты деревьев, телеграфных столбов. Ледяной ветер со снегом хлестал в лицо.

«Мать пресвятая богородица, куда же он девался?»

Расталкивая пассажиров, «Недремлющий» ворвался в злополучное купе.

— Где русский? — крикнул он в лицо оторопевшему шведу.— Вы с ним заодно?

Он готов был избить этого толстого шведа, не желавшего понимать по-русски.

— Мин готт! Что случилось? — восклицала перепуганная дама.

— Успокойся, дорогая, это, наверное, русский сыщик принимает нас за революционеров.

— Возмутительно! — ответила жена.

Филеры вошли к себе в купе, и «Недремлющий» посмотрел на напарника ненавидящими глазами...

Курносый паровоз, распушив пары, пыхтя и отдуваясь, подходил к станции Або.



ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА

В этот день сестры Винстен сели обедать, как всегда, в два часа. Стол был сервирован по-прежнему, меню было обычное для пятницы: гороховый суп, красная рыба с картофельным пюре. Размеренная жизнь в пансионе текла своим чередом, но сестрам было необыкновенно грустно.

Вот уже несколько дней, как инженер Петров уехал, а каждый раз разговор за обедом почему-то возникает только о нем.

— Помнишь, Анна, как он старательно заучивал шведские слова и никак не мог правильно произнести шю[1] и как смеялся сам над своим произношением?

— Смеялся звонко и очень весело. Так могут смеяться только хорошие люди,— отозвалась Анна.— А как тонко он понимал музыку! Я уверена, что он и сам неплохо музицирует. Помнишь неправильные глаголы? Когда я увидела русского полицейского, у меня от страха похолодели руки и замерло сердце, а он говорит: «Неправильный глагол — ершрекен». Сказал таким тоном: мол, бояться нечего, и глаза стали хитрыми-хитрыми. У меня и страх прошел.

— Очень милая у инженера Петрова жена, наверно, они теперь вместе,— задумчиво произнесла Сонни.— Помнишь, мы не хотели ее впускать?

— Ну, уж здесь виноват был сам господин Петров,— перебила сестру Анна.— Ты ведь отлично помнишь, что он предупредил нас о том, что к нему в среду приедет товарищ. Он не сказал — жена, он сказал — камрад. А фру Петрова приехала в понедельник. Хорошо, что у нас были сахарные крендельки, они ей очень понравились.

И сестры вспоминали, вспоминали без конца...

Сонни в который уже раз пересказывала сестре, как в тот вечер к инженеру Петрову пришел смешной и милый человек в очках, с необычайно высоким лбом и удлиненной головой. Он приходил к нему и раньше, но всегда со связкой книг и подолгу засиживался. В этот раз пробыл несколько минут.

После его ухода инженер Петров сказал, что ему нужно отлучиться

[1] Семь *(швед.)*.

по срочным делам. Когда Анна вернулась из города с покупками, квартиранта уже не было. К ночи он тоже не вернулся. Не возвратился и на следующий день. Сестры очень беспокоились, но в сумерках второго дня снова пришел человек в очках, передал сердечный привет от инженера Петрова, принес шестьдесят марок за квартиру...

— Шестьдесят марок и пятьдесят пенни,— уточнила Анна...

Наутро сестры наводили порядок в комнате инженера Петрова. Сонни открыла шкаф и ахнула: на вешалке висела аккуратно расправленная люстриновая куртка, в которой квартирант всегда работал. Сонни взяла ее в руки. Куртка хранила на себе складки на сгибах рукавов, на локте была аккуратно вшитая заплатка, и одна пуговица больше других — видно, ее случайно подобрали вместо потерянной.

Сестры были очень огорчены. Как же теперь вернуть инженеру Петрову его куртку?

— Может, дать объявление в газетах? — предложила Сонни, но Анна строго заметила, что Сонни совсем еще легкомысленное дитя: такое объявление может ему только повредить.

Решили спрятать куртку в сундук. Инженер Петров обнаружит пропажу и приедет за ней или при случае кого-нибудь пришлет.

В комнате оставалась груда газет — сестры целый вечер топили ими печку. Анна, прежде чем бросить газету в огонь, бегло просматривала энергично отчеркнутые инженером Петровым на полях газеты строчки, многочисленные значки «нотабене», вопросительные и восклицательные знаки, и ей становилось понятно, на чьей стороне симпатии инженера Петрова и против кого направлены иронически звучащие «Сик!!». Газетные статьи говорили о самоотверженной борьбе русских рабочих против самодержавия и о жестоком терроре царизма, направленном против революционеров. Теперь Анна не могла пройти мимо киоска, чтобы не купить газеты. Это стало привычкой. Как-то само собой получилось, что, пока инженер Петров квартировал в пансионе, жизнь сестер была заполнена, с ним было беспокойно, но интересно, а теперь спокойная, размеренная жизнь стала пустой и незначительной.

После обеда Сонни села за фортепьяно. Вальс Сибелиуса не радовал. Анна подошла к жардиньерке с кактусами. Они пахли пылью. Белый шпиц грустными глазами следил за хозяйкой.

Неожиданно воинственно закричал попугай, и Анна кинулась к двери — не Петров ли это? Нет. Посетитель был в форме лейтенанта



финляндской полиции. Он заявил хозяйкам пансиона, что ему, Пармонену Эйно, велено расследовать некоторые вопросы, связанные с пребыванием у них «главного русского революционера Ульянова-Ленина». Лейтенант протянул сестрам фотографию, на которой они сразу узнали инженера Петрова.

— Знаете ли вы этого человека? — спросил полицейский.

Сонни широко раскрыла глаза и с испугом посмотрела на сестру.

Анна тронула ее за руку и ответила, что не помнит, чтобы видела когда-нибудь этого человека.

— Не хитрите, фрекен Анна,— сказал Пармонен.— Нам отлично известно, что Ульянов-Ленин жил у вас в пансионе под именем инженера Петрова.

— Где же он теперь? — спросила Анна.

— За границей.

Сестры вздохнули с облегчением.

— Я должен установить,— продолжал полицейский,— как ему удалось выехать за границу, минуя порт Або, и кто помог ему бежать. Что вы можете сказать?

О, Сонни и Анна теперь все понимали!

— Что мы о нем можем сказать? Инженер Петров был великолепно образован. Он хорошо владел немецким языком, отлично знал спряжения глаголов. Ты, Сонни, конечно, хорошо помнишь: «Алзо, вир хабен унс нихт ершрокен»? — Анна выразительно посмотрела на сестру.

— Да, да, он умел вести себя. Он не закурил бы в нашем доме без разрешения,— как бы между прочим заметила Сонни.

— Он и не курил вовсе,— добавила Анна.

Полицейский поискал глазами пепельницу и погасил сигарету.

— Его интересовали все области науки и искусства.

— Меня это не касается,— прервал сестер полицейский.— Мне поручено выяснить, с чьей помощью Ульянов-Ленин скрылся за пределы Российской империи.

— К нашей помощи он не прибегал,— сказала Анна.

— Не на аэроплане же он улетел... Кто вам его рекомендовал?

— Инженер Петров явился в пансион сам, по объявлению в газете.

— Кто его навещал?

— Они не оставляли нам своих визитных карточек.

— Вам нечего бояться, фрекен, вам ничто не угрожает. Ваш долг — только помочь установить, каким путем Ульянов скрылся за границу,— примирительным тоном убеждал полицейский сестер.

— Инженер Петров не обсуждал с нами своих планов, он был просто нашим квартирантом,— пояснила Анна.

— Может быть, у вас остались какие-нибудь бумаги, документы или вещи вашего квартиранта? — не унимался полицейский.

— О да! — вспомнила Сонни про люстриновую куртку.— Он оставил...

— Он оставил,— перебила Анна сестру,— очень хорошее о себе воспоминание, господин лейтенант.





Сквозь ледяную мглу



В ПОРТУ

Стояла хмурая декабрьская ночь. Ветер тащил с моря тяжелые тучи, и они засыпали город Або колючим, шуршащим снегом. Глухие удары волн о причалы доносились до тихой улочки, упиравшейся одним концом в каменную ограду церкви. Люди спали. Улица казалась необитаемой, и только в доме коммерсанта Вальтера Борга светилось окно.

Гуго и Свен так и не успели раздеться. Они сидели на отцовском диване в теплых куртках, зимних башмаках, с шапками на коленях.

Вальтер Борг шагал по комнате и с нескрываемым беспокойством расспрашивал сыновей:

— Может быть, вы затеяли игру в снежки и опоздали к поезду?

— Мы говорим правду, отец.— Старший Гуго, вскинул на отца глаза, полные обиды.— Уверяю тебя, что твой товарищ с этим поездом не прибыл. Мы видели всех, кто вышел из шестого вагона.

— Да, из вагона номер шесть...— подтвердил Свен.

— Ты говоришь, к этому вагону подошло много русских? — спросил отец Гуго.

— Да, они встретили двух мужчин и сразу стали их ругать. Ругались по-русски, и мы со Свеном ничего не поняли. Человек с коричневым саквояжем и с газетой в правой руке из вагона не выходил.

— Это просто невероятно,— сокрушался отец.— Мне звонили из Гельсингфорса уже после того, как он уехал. Куда же он мог деваться? (Сыновья молчали.) Марш спать! Через три часа разбужу, пойдете к утреннему поезду.

Мальчики ушли спать, смущенные и огорченные.

Отец прилег на диване, но понял, что сна не будет. Он взял с полки книгу. Не читалось. Сел за стол и стал просматривать фирменные счета и письма.

Завтра кончается срок рекламации за подмоченный сахар. Если он не поедет к поставщику, «Торговый дом Вальтер Борг и сыновья» потерпит убыток. «Ну и черт с ним, с этим сахаром!»

Борг отодвинул в сторону бумаги.

Его занимала только одна мысль: куда мог исчезнуть Ульянов? Неужели мальчишки опоздали к поезду и он сейчас бродит по улицам Або?

Чуткое ухо уловило скрип калитки. Кто-то быстро поднимался по ступенькам.

Борг выбежал в коридор, распахнул дверь.

— Наконец-то! Здравствуйте, товарищ Ульянов. Мои мальчишки вас прозевали? Я так и думал. Где же вы были до сих пор? — Борг помог гостю снять пальто.

— Мальчики напрасно ходили на вокзал... Они уже спят? — шепотом спросил Владимир Ильич, проходя в комнату.— Дело в том, что шпики не оставляли меня своим вниманием от самого Гельсингфорса, и я понял,— он лукаво прищурил глаза,— что в Або полиция готовит

мне пышную встречу. На последней остановке перед Або... как она называется?

— Станция Литтойнен.

— Совершенно верно. На станции Литтойнен я их перехитрил. Поезд тронулся, я углубился в изучение пароходного расписания, они нырнули к себе в купе. Тогда я забрал свой саквояж, выбрался на площадку вагона и... покинул поезд. Благо на откосах сугробы глубокие. Сюда пришлось добираться пешком.

Владимир Ильич ходил по комнате, потирая пальцами уши. Щеки у него пылали, веки глаз припухли от ветра и снега.

Вальтер Борг стоял потрясенный. Выпрыгнуть из поезда на полном ходу, ночью! Какой страшный риск! И вот он, живой, невредимый.

— Это бог знает что такое! — воскликнул Борг.— Сейчас же приготовлю пунш, и — в постель!

— А вы приготовили мой отъезд в Швецию?

— Сейчас, сейчас все расскажу. А пока, разрешите, я принесу пунш, иначе вы рискуете заболеть от простуды, товарищ Ульянов.

— Теперь я доктор Мюллер,— предостерегающе поднял палец Владимир Ильич.— И чтобы вы знали, я — геолог. Только что прибыл из Германии, интересуюсь абоскими известняками. Намерен пробыть в этих краях день-два — и обратно в свой фатерланд[1].

Борг понимающе кивал головой.

— И кстати, пунш я не пью, а стакан горячего чаю — с удовольствием.

Хозяин ушел готовить чай.

Владимир Ильич шагал по комнате, заложив руки за спину под пиджаком и чуть наклонив голову к плечу. Как же выбраться из Финляндии? Что может придумать Борг? Обычный путь на пароходе исключен, порт сейчас несомненно под неусыпным наблюдением полиции. Как же добраться до Швеции, чтобы оттуда ехать дальше в Швейцарию?

Он подошел к карте, висевшей на стене, и стал ее рассматривать. Быть может, подняться выше на север страны и там перейти по льду? Или переправиться на рыбачьей лодке по фарватеру, пробитому ледо-

---

[1] Родина *(нем.)*.

колом? А может, обойти пешком Ботнический залив? Любопытно, сколько это будет верст? Не меньше семисот.

Вальтер принес чай, хлеб, сыр, расставил все на столе. Его пышущее здоровьем лицо болезненно морщилось, когда он поглядывал на усталого Владимира Ильича.

В торговых реестрах Або Вальтер Борг числился добропорядочным коммерсантом, но всю свою жизнь и свое торговое предприятие он подчинил интересам партии социал-демократов. Своих двух сыновей он тоже готовил на службу рабочему классу.

— Ну, так как же вы будете отправлять меня в Стокгольм, дорогой товарищ Вальтер?

— Я договорился с капитаном парохода.

— На пароход мне нельзя,— подхватил Владимир Ильич.— Хорошо бы через шхеры, где пешком, где на лодке.

— Надо будет поговорить с финляндскими активистами. Есть здесь один студент, член шведского рабочего союза Людвиг Линдстрем. Завтра, когда вы отдохнете, мы пойдем к нему.

— Нет, нет, не завтра, а немедленно, сейчас же.— Владимир Ильич решительно отодвинул стакан в сторону.— Полиция, конечно, разыскивает меня в Або. Нельзя допустить, чтобы меня нашли в вашем доме. У нас с вами еще очень много дел, товарищ Вальтер.

— Да, это верно.

Через несколько минут Владимир Ильич и Борг шагали по заснеженным переулкам города.

Было еще совсем темно, когда Людвиг Линдстрем пришел на извозчичью биржу и потребовал для немецкого профессора Мюллера пару свежих лошадей.

— До острова Кирьяла,— предупредил Линдстрем.

— Кто это едет в такую рань? Все люди спят, и лошади не отдохнули,— проворчал извозчик.

— Профессор очень торопится, лошади должны быть готовы немедленно,— настаивал энергично студент.

Профессор стоял рядом с саквояжем в руках.

— Ох уж эти немцы,— бурчал возница, спеша под сердитым взглядом профессора подтянуть подпруги,— аккуратный народ, ничего не скажешь. Не любят даром терять время...

В ШХЕРАХ

К полудню лошади, поседевшие от инея, подвезли путников к большому низкому строению. Вывеска над воротами гласила, что это постоялый двор Фредриксона и сыновей. Фредриксон, старик с широченной грудью и маленькими светлыми глазками на загорелом лице, встретил гостей на пороге дома.

Линдстрем шепотом произнес пароль.

— Гуд даг! Велькоммен![1] — пробасил хозяин.

В просторной комнате за обеденным столом сидели члены семьи Фредриксона — жена, сын, невестка.

Владимир Ильич подал каждому руку.

— Доктор Мюллер,— отрекомендовался он.

Гостей пригласили за стол. Хозяйка положила им на тарелки по большому куску картофельной запеканки с салакой. Ели в полном молчании. Финны не любят много разговаривать, особенно за едой.

После обеда хозяин отвел гостей в спальню: в любой момент на постоялом дворе могли появиться чужие люди.

— Надо помочь господину профессору добраться до Стокгольма,— сказал Линдстрем, взяв на себя роль переводчика.— Есть ли у вас проводники?

Помедлив, Фредриксон ответил:

— Будут не раньше, чем через месяц.

— Профессор очень спешит, и проводникам будет уплачено,— пояснил студент.

— Много денег не обещайте, я весьма ограничен в средствах,— предупредил профессор студента, уловив из разговора, что речь идет об оплате услуг.

Линдстрем ничего не сказал: главный довод у него был в запасе.

После длительных переговоров было решено, что старик Фредриксон сегодня же ночью отправится в шхеры и выяснит возможный путь в Стокгольм.

— Вам придется поселиться в летнем домике,— предложил он.— Там у меня хранится разный крестьянский инвентарь, но, надеюсь, он вам не помешает.

---

[1] Добрый день! Добро пожаловать! *(швед.)*

Одну из комнат хозяева освободили от сельскохозяйственных орудий, оставив на стенах хомуты, дуги, уздечки. Жена Фредриксона вымыла пол, отец с сыном притащили кровать, похожую на гармонь и на ночь раздвигавшуюся в широкую постель, поставили маленький стол, кушетку, два стула. Вытопили печь.

Перед отъездом Фредриксона студент сообщил ему, что профессор сильный и умный враг русского царя.

Это был главный довод, который заставил старика поторопиться.

* * *

Дневной свет проникает в комнату сквозь щели ставен.

Подставив тетрадь под полосу света, Владимир Ильич пишет. Изредка он поднимается со стула и быстро шагает по комнате из угла в угол, чтобы согреться и что-то обдумать.

Людвиг сидит у окна и старается углубиться в книгу. Это плохо ему удается — в комнате холодно и неуютно.

Студент с интересом наблюдает, как из-под руки профессора на страницы тетради ложатся ровные строчки. Он пишет уже больше часа, отрывая руку от тетради только затем, чтобы обмакнуть перо в чернильницу или чтобы перевернуть страницу. Пишет как под быструю диктовку. Вот он дописал до конца последнюю страницу, поднялся, вынул из саквояжа чистую тетрадь, разложил ее на столе. В верхнем углу обложки аккуратно вывел карандашом «24». «Двадцать четвертая тетрадь,— отметил студент, удивляясь тому, что профессор, не заглядывая в предыдущую тетрадь, продолжал излагать прерванную мысль.— Как можно так быстро писать научную работу? Поразительно!» — думает Людвиг.

Когда стемнело, молодая хозяйка принесла ужин — сухой хлеб, жареную салаку, кувшин с брусничной водой. Людвиг завесил окно половиком и зажег лампу. Владимир Ильич с удовольствием и умело растопил печурку. После ужина предложил студенту прогуляться.

— Привычка ежедневно гулять у меня с юных лет,— сказал он.

Людвигу эти прогулки очень нравятся. Ульянов говорит по-немецки, сильно грассируя, и студент старается ему подражать. Людвигу приходится отвечать на много вопросов и объяснять значение нужных профессору шведских слов.



Когда Владимир Ильич проявляет нетерпение с отъездом, студент простодушно замечает, что профессор может спокойно жить в Финляндии, так как «его охраняет финляндская конституция». Линдстрем гордится тем, что Финляндия получила одну из самых демократических конституций в мире. Он согласен, что ее завоевали для финляндского народа русские рабочие в Декабрьском восстании 1905 года, но все же это — «финляндская конституция».

— Вы находитесь под ее защитой,— говорит он Владимиру Ильичу.— Я знаю, вы первый русский, который потребовал признания права наций самим устраивать свою судьбу. Вы истинный друг нашего народа...

— Но не вашей буржуазии,— живо возражает Владимир Ильич.— Финляндская буржуазия напугана русской революцией. Она с готовностью выдает царизму русских революционеров и думает своей услужливостью уберечь себя от насилий царизма. Но нет, это ей не поможет. Не поможет! Царь уже превратил финляндскую конституцию в пустую бумажку.

Ночью Людвиг долго не может заснуть. Неужели финны могут выдать профессора? Чудовищно. Русский царь мстит народу, но почему финны заодно с царем? Это профессор делит финнов на рабочих и буржуазию, а для Людвига Линдстрема финляндский народ един, все финны — члены единой семьи. Но единой ли на самом деле? Теперь Людвиг не уверен в этом.

На третьи сутки на рассвете, в густой снегопад, вернулся Фредриксон и разбудил профессора и студента.

— Выезжать надо немедленно, сейчас же,— предупредил он.— Полиция уже рыщет по шхерам и, конечно, не оставит без внимания постоялый двор. Финляндские полицейские получили приказ задерживать русских революционеров.

Старик велел запрягать лошадь.

— С нами поедет Вильгельм,— пояснил он.— Старший сын Карл у меня важная персона: он лоцман и сопровождает только царей,— шутливо, но и не без хвастовства заметил Фредриксон.

— Не он ли посадил царскую яхту на мель этим летом? — поинтересовался Владимир Ильич.

— Э-э, нет. Карл имел честь сопровождать по шхерам и Аландским островам царскую яхту на пароходе «Элякон», когда их величество

Александр Третий совершал прогулку по морю. Это было в тысяча восемьсот девяностом году. Карл из рук его величества получил золотой... Вот как, господин профессор,— важно сказал Фредриксон.— Жаль, что Карла нет дома, он рассказал бы вам подробнее об этой поездке.

Рассвет еле обозначился бледной кромкой на горизонте. Владимир Ильич дружески пожал руку Линдстрему, поблагодарил его и пожелал ему счастья.

— Желаю вам успеха в ваших делах,— растроганно прощался студент.— Вы даже не подозреваете, как мне было интересно с вами и как много вы возбудили мыслей...

Владимир Ильич уселся в санки рядом с Фредриксоном. Лошадьми правил Вильгельм.



ПАРОЛЬ

В поселке Паргас их ожидала неудача: человека, который должен был проводить профессора Мюллера дальше, не оказалось дома. Хозяйка молча пододвинула к столу два стула, смахнула рукой воображаемые крошки и соринки с чистой скатерти и ушла в другую комнату. Профессор полистал словарик и пытался завязать разговор с Фредриксоном, но старик не понимал его: напряженно мигал белыми ресницами, кивал головой и затем неожиданно спрашивал: «Вад?»[1]

Часа через два Фредриксон поднялся с места и стал что-то объяснять. Владимир Ильич понял одно — старик с сыном не могут больше ждать: постоялый двор остался без мужчин и им пора домой.

Фредриксон протянул профессору неровно обрезанный кусок открытки. Владимир Ильич спрятал его в карман.

Хозяйка принесла чашку кофе, поставила на стол вазочку, в которой лежало несколько квадратиков печенья с оттиском «Жорж Борман». Владимир Ильич принялся составлять с помощью словаря фразы для предстоящего разговора с хозяином. Составить фразу по-шведски дело не трудное, а вот как постигнуть произношение? Фрекен Анна дала ему несколько уроков, но их было недостаточно.

В соседней комнате послышался мужской голос.

«Наконец-то пришел хозяин!» — с чувством облегчения решил Владимир Ильич.

Мужчина что-то отрывисто спрашивал, хозяйка отвечала. Затем дверь открылась, и в комнату вошел финский полицейский.

Владимир Ильич вопросительно посмотрел на вошедшего.

— Виктор Карлсон,— шаркнул полицейский.— Лошади у крыльца. Поехали!

«Считать себя арестованным или как?» — подумал Владимир Ильич и решительно спросил:

— Мне нужно основание.

— Пожалуйста! — Полицейский вынул из нагрудного кармана замысловато обрезанный кусок цветной открытки.

---

[1] Что? *(швед.)*

Владимир Ильич внимательно рассмотрел его и приложил к этому куску вторую половину открытки, оставленную Фредриксоном в конверте. Куски совпали. На открытке была изображена белокурая девушка и орел со злющими глазами, с крыльями, как черная туча.

Пароль был правильный. Страхи напрасны.

Полицейский Виктор Карлсон был членом тайной организации финляндских активистов. Организация ставила своей целью борьбу за самостоятельность Финляндии. Финляндские активисты охотно помогали тем, кто вел борьбу с русским царизмом.



«ДЕТ ГОР ИНТЕ!»[1]

орога привела к одинокому красному домику на скалистом холме. Домик резко выделялся на фоне снега и покрытых инеем скал, и даже окна в нем рдели, отражая закатное солнце.

— Ну, вот и приехали! — важно возвестил Карлсон. Он слез с облучка, привязал лошадь и с силой толкнул ногой дверь.

Владимир Ильич отметил, что ни в одном финском доме он не видел замко́в или прочных запоров.

Небольшая комната-кухня, куда они вошли, блестела чистотой. На полу разостланы светлые домотканые половики, бревенчатые стены украшены самодельными ковриками, на полке у большой печки сияют начищенные медные кастрюли. От печи до стен, под самым потолком, протянулись тонкие шесты, а на них нанизаны круглые и плоские, как лепешки, хлебы.

Карлсон о чем-то вполголоса переговорил с хозяином, кивнул хозяйке и торопливо ушел. Он должен был поспеть на дежурство.

Владимир Ильич сел рядом с рыбаком на широкую скамью и сказал по-шведски:

— Друг, мне нужно как можно скорее попасть в Стокгольм. Как это сделать?

Рыбак коричневым суковатым пальцем набивал трубку. Он молчал, так как не мог делать разом два дела — набивать трубку и разговаривать. Наконец трубка разожглась, он затянулся, окинул медленным взглядом своего гостя, словно оценивая его силы, и произнес:

— Дет гор инте! Не пойдет! Нет дороги. Ни пешком, ни на лодке. Надо ждать, пока станет лед.

Гость вынул из кармана словарик, полистал его и спросил:

— А когда лед станет?

— Это знает один господь бог.

— Те-те-те! — воскликнул Владимир Ильич.— Вы сказали: ни пешком, ни на лодке. А если и пешком и на лодке? Идти по льду, а лодку толкать перед собой. Я видел, как однажды шли рыбаки по Финскому

[1] Не пойдет! *(швед.)*

заливу.— Владимир Ильич жестами показывал, как это будет выглядеть.

— Дет гор инте! Не пойдет! — упрямо твердил рыбак.— Лед не выдержит человека, лодка не пробьется через ледяную кашу. Надо ждать, пока станет лед.

Рыбак отвел гостю каморку, служившую спальней.

Утром Владимир Ильич поднялся вместе с хозяевами. Умываясь в кухне, он заметил, что за ним наблюдают большие любопытные глаза.

— Пойди, пойди сюда, давай познакомимся!

Из-за печки вышел мальчуган и отвесил гостю поклон:

— Вильхо.

— Мюллер,— в тон ему назвал себя Владимир Ильич.

Жена рыбака, приглаживая белые волосы на голове мальчонки, рассказала профессору, что это их племянник, он живет с родителями на дальнем острове, где нет школ, и приезжает сюда на зиму учиться.

— Ты идешь сегодня в школу? — спросил гость, полистав книжечку.

Вильхо приподнялся на цыпочки и прокричал:

— Не-е-ет! Я у-у-учусь три ра-за в не-де-лю!

— Почему ты кричишь? — поинтересовался профессор.

— Чтобы ты лучше меня понял.

Тетка Тайми зашикала, дядя Вейно кинул на дерзкого мальчишку свирепый взгляд, а гость запрокинул голову и так хорошо и радостно рассмеялся, словно ему на крючок попалась большая семга. Он вытер глаза, заглянул в словарик и уже серьезно сказал:

— Ты совершенно прав, Вильхо. Когда плохо говоришь на иностранном языке, походишь на глухонемого.

Хозяйка поставила на стол большую миску, полную печеной салаки. Хозяин встал на скамейку и аккуратно срезал ножом с шеста два хлебца. Хлеб был жесткий, как железо, его пекли один раз в месяц и подвешивали к потолку, чтобы высох и чтобы достать его было нелегко. «Вот так же впрок пекут хлеб земледельцы всего мира»,— подумал Владимир Ильич.

Хозяин словно угадал мысли гостя:

— Салаку море бесплатно дает, а хлеб — его надо на скалах выращивать и каждое зерно пóтом поливать.

— Пожалуйте к столу, господин профессор,— пригласила хозяйка.

После завтрака Владимир Ильич разложил в каморке на столе таблицы и стал выписывать на листке бумаги длинные столбцы цифр.

Вильхо стоял у двери спальни и наблюдал.

Рыбак подозвал племянника:

— Никому не говори, что к нам приехал гость. Если кто спросит, есть ли у нас чужие, отвечай: никого нет.

— А почему нельзя похвалиться, что у нас в доме гость? — удивился мальчуган.

— Чтобы люди не завидовали. И нельзя задавать так много вопросов, скоро станешь седым,— рассердился дядя.— Не мешай ему. Садись за уроки.

Вильхо взял в руки книгу.

Рыбак вытащил из угла на середину кухни сеть, устроился на полу и принялся латать дыры. В умелых руках замелькал челнок. Поглядывая в приоткрытую дверь спальни и вспоминая слова Карлсона, Бергман думал: «Неужели это и есть самый сильный враг царя? А с виду — обыкновенный учитель».

* * *

Владимир Ильич приступил к заключительной главе «Аграрной программы». Он заканчивал 26-ю тетрадь. Свыше четырехсот страниц уже написано за последние недели. Конечно, можно было бы сделать больше, но эти переезды...

Чистых тетрадей больше нет. Владимир Ильич вышел на кухню и спросил у хозяина, нельзя ли купить в лавке несколько тетрадей.

Вильхо вскочил на скамейку, вынул из шкафа тетрадь и протянул гостю:

— Хочешь, дам одну?

Владимир Ильич покачал головой:

— Одной мне мало.

Вильхо достал еще: отец купил тетрадей на целый год.

Это были обыкновенные ученические тетради в синих обложках с белой наклейкой посередине.

Вильхо удивился: профессор, а пишет в школьной тетради.

Когда стемнело и буквы стали сливаться в одну полоску, Вильхо заглянул в спальню.



— Что ты так много пишешь?

— Решаю трудные задачки,— ответил серьезно гость.

— А ты их решишь?

— Решу обязательно.

— Знаешь что? — зашептал Вильхо.— Ты спрашивал про дорогу в Стокгольм. Зачем идти по льду? Еще провалишься! Погода плохая, лед слабый. Поезжай обратно в Або и там садись на пароход. Уж очень интересно ходить на пароходе по морю, это тебе не парусная лодка.

— Хорошо, я подумаю,— ответил Владимир Ильич и погладил мальчика по голове. Затем зажег керосиновую лампу, вспомнил свою лампу под зеленым абажуром и снова погрузился в работу.

Семья села обедать.

— Господин профессор, пожалуйте к столу!

Но Владимир Ильич не слышал слов хозяина. Опустив левое плечо, наклонив набок голову, он продолжал сосредоточенно писать.

— Пожалуйте к столу, господин профессор,— повторил рыбак чуть громче.

Владимир Ильич оглянулся.

— Сейчас, сейчас, спасибо.— Он поднялся со стула, с сожалением отрываясь от работы.

Вышел в кухню, сел за стол — и вот он уже полон внимания и интереса к жизни этой семьи, к их заботам. Он расспрашивает Бергмана, как тот умудряется сеять на скалах, какие культуры выращивает, интересуется уловом рыбы, бюджетом семьи, размером аренды за клочки земли, вовлекает в разговор даже молчаливую и застенчивую хозяйку и сразу становится своим человеком в доме. «Я, кажется, овладел музыкальным ударением,— думает Владимир Ильич, быстро перелистывая словарик,— эти люди меня понимают».

— Вы говорите по-фински? — спрашивает он у хозяина.

— Нет.

— Вы — швед?

— Я — финн, все мои предки финны, а вот родной язык помню плохо. Шесть столетий мы были под властью шведов, и они сделали все, чтобы мы забыли свой язык. Скоро будет сто лет, как русский царь добивается того же. Дет гор инте! Не пойдет!.. Скажите, господин профессор, когда Финляндия получит наконец самостоятельность и будет ли такое благо от царя?



Хозяйка подвигается ближе. Этот вопрос ее тоже волнует.

Владимир Ильич внимательно посмотрел на рыбака:

— Финляндия получит право на самостоятельность, дорогой Бергман. Непременно получит. Но не от царя, друг мой. Есть только одна сила в мире, которая принесет право на независимость — это победа русских рабочих.

— Когда русские рабочие победят, они про нас забудут. У нас в народе говорят: «Ома маа — мансикка, му маа — мустикка».

— Как, как? — заинтересовался Владимир Ильич.

Рыбак перевел финскую поговорку на шведский язык: «Своя страна — земляника, чужая — черника».

— Нет, дорогой товарищ. У рабочего класса интересы много шире. В программе русских рабочих записано: добыть свободу не только для себя, но и завоевать право на самостоятельность финнам, полякам и другим народам.

— Помоги им бог...— шепчет жена рыбака.

— Ну, а как лед? — не терпится узнать Владимиру Ильичу.

— Ждать надо. Вода стоит еще высоко.

Повышение воды в шхерах — признак потепления, это Владимир Ильич знает. При падении воды — жди ветра северного, а с северным ветром станут и льды.

После обеда Вильхо заговорщически прижал палец к губам и подозвал профессора к окну. В деревянной коробке из-под английских сигар, которую он достал из-за печки, хранились сокровища мальчика. Вильхо первым делом показал гостю длинную серую полоску — высушенную змеиную шкурку. Примерил ее себе на шею, как галстук, и с гордостью сказал:

— Я сам убил эту змею. Знаешь, сколько здесь змей в скалах — не сосчитать! А раз мужчина увидел змею, он должен ее убить, ведь так?

В коробке были винтики, рыболовные крючки, просмоленные нитки.

— Ты, наверное, змей не боишься,— убежденно сказал Вильхо,— я слышал, дядя говорил тетке Тайми, что ты самый сильный враг царя. Это правда?

— Нет, дядя ошибается. Одному царя не одолеть, с ним заодно все богатеи. Нужно, чтобы против царя и богатеев пошли все рабочие и крестьяне.

— И рыбаки тоже?

— Да, и рыбаки.

— И тогда одолеют?

— Непременно.



ОПАСНЫЙ ПУТЬ

Вот уже несколько дней Владимир Ильич отрезан от всего мира. Последнюю газету он видел в Оглбю, у сестер Винстен. Никаких известий о России у него нет. Никакой возможности действовать активно. Каждый день пребывания его здесь, в шхерах, дает возможность врагам рабочего класса безнаказанно вести разрушительную работу в партии. Этого допустить нельзя. «Надо найти способ выбраться отсюда в ближайшие же дни»,— думает Владимир Ильич.

Прошло еще два томительных дня.

Утром после обычного вопроса: «Как лед?» — Бергман невозмутимо ответил, что раньше Нового года отсюда не выбраться. Лед еще не окреп, на следующей неделе начинаются рождественские праздники, а кто же в праздник предпринимает такое путешествие?

— Нет,— твердо возразил Владимир Ильич.— Мне надо быть в Стокгольме до рождественских праздников.— Он вынул из кармана вырезку из газеты с расписанием пароходного сообщения.— Мы должны выйти завтра утром, чтобы успеть к шведскому пароходу. Через два дня на Стокгольм пойдет финский пароход — я не могу им воспользоваться, а там наступит рождество.

Рыбак помолчал, потоптался на месте и вышел на улицу.

Владимир Ильич посмотрел в окно. Бергман вытащил из-под навеса небольшую плоскодонную лодку и принялся ее оснащать. Впереди уключин прибил стойки длиной в пол-аршина, а на них, поперек лодки, прикрепил шест. Понятно! Молодец Бергман. Держась за шест с обеих сторон, можно будет идти по льду и двигать лодку вперед. Встретится большая полынья — залезай в лодку и отталкивайся от льдин багром.

Закончив работу, Бергман зашел в дом и сообщил, что к отъезду все готово, кроме погоды: ветер северо-восточный, температура минус два градуса, вода убывает медленно.

Он неодобрительно покосился на хромовые сапоги русского и что-то коротко сказал Вильхо. Мальчуган тотчас оделся и убежал. Вернулся с огромными рыбацкими сапогами, смазанными остро пахнущим рыбьим жиром.

— Отправляться нужно ночью, пока спят женщины,— сказал рыбак,— а то женщина увидит — вся округа узнает.

Вечером он выходил проверять направление ветра и измерял уровень воды. Дул северо-восточный ветер силой до четырех баллов, уровень воды в шхерах понижался — понижалась и температура воздуха. «Все идет хорошо»,— говорил рыбак.

Профессор и мальчуган сидели на скамейке. Оба что-то мастерили. Гость острым финским ножом «пуку» вырезывал коня из куска сосновой коры. У коня получалась слишком крутая шея, как у шахматной фигуры. Таких коней Владимир Ильич научился резать в ссылке, в селе Шушенском, когда его одолело желание сразиться в шахматы. Мальчик старался подражать профессору и старательно резал кору, но у него получалась фигура, мало похожая на коня.

Время уже было позднее, и Вильхо пошел спать, прижав к себе «настоящего» коня карей масти, подаренного ему профессором. Коробка из-под сигар у мальчугана пополнилась новым сокровищем.

Ночь коротали втроем за чашками остывшего кофе — хозяйка, рыбак и их гость. Сидели молча. Домик наполнял шум моря, шорох сползающей за волной гальки. Сидели и слушали море, и не слушать его было нельзя, и слушать, ничего не делая, нестерпимо. При сильных порывах ветра со шкафа словно сдувало какой-то чистый и нежный звук.

— Это кантеле поет,— улыбнулась хозяйка, подошла к шкафу и сняла с него музыкальный инструмент, очень похожий на старинные русские гусли.

Она положила кантеле на стол и пальцами, давно потерявшими гибкость, тронула струны. Суровая мелодия вплелась в шум моря, а потом перекрыла собой ропот волн, шуршание гальки и заполнила до краев маленький рыбацкий домик.

— Пора! — сказал Бергман.

Хозяйка осторожно приложила ладони к струнам и погасила звуки.

Владимир Ильич подошел к женщине и пожал ей руку:

— Большое спасибо! Большое спасибо за все!

Скупая улыбка, как зимнее солнце, осветила лицо женщины.

Вильхо лежал на кровати и из-за полога наблюдал за сборами. Вот профессор надел большие рыбацкие сапоги, дядя Вейно подвязывает шарф. Сейчас они уйдут, о нем забыли.



— Жаль, что Вильхо спит,— сказал профессор, лукаво покосившись на полог, из-за которого выглядывал нос и блестевшие от слез глаза мальчугана.

— Нет, не сплю я! — крикнул Вильхо, вскочил с постели и бросился к профессору.— Неужели ты уходишь? Скоро рождество. Я наломаю еловых веток, тетя Тайми сделает из них венок. Ведь сделаешь, тетя Тайми? Да?

— Сделаю, сделаю, иди спать,— отвечала тетка.

— Мы зажжем свечи. Будет рождественская елка. Неужели ты уедешь?

— Ничего не поделаешь,— с огорчением ответил гость.— Я должен быть в Стокгольме до праздников, у меня там срочные дела, весьма срочные.

Профессор попрощался с Вильхо. Бергман открыл дверь, и в кухню с улицы пополз туман.

— Ду-у, ду-у! — донесся с моря гудок.

Ого-го-го! — откликнулся второй.

Это гудели в тумане пароходы, чтобы не наскочить друг на друга и чтобы береглись рыбачьи лодки.

Ду-у, ду-у, ого-го-го! — перекликались пароходы.

Тетка Тайми прикрутила лампу, села у окна и, сложив ладони, стала читать молитву.

Вильхо лежал, замерев от страха. Он рос в шхерах и знал, что в такую погоду идти по льду трудно и опасно. Он подобрался к окну. За стеклами белым дымом клубился туман.

— Тетя Тайми, как же дядя и профессор идут в таком тумане? Ведь и маяка не увидишь.

— Когда у человека великая цель, она ему вместо маяка служит, тогда и туман ему нипочем и ледяную мглу он одолеет,— ответила женщина.

* * *

Суровый край Абоские шхеры. Тысячи островов густо разбросаны в Ботническом заливе. Есть среди них острова большие — на них разместились целые поселки, есть и совсем крохотные — трем чайкам на них тесно.

Зимой, покрытые снегом и спаянные между собой льдом, шхеры походят на вздыбленные и застывшие волны.

Мгла окутывала острова. Из открытого моря, с большого фарватера доносились протяжные гудки пароходов. Казалось, заблудившиеся в тумане большие птицы взывали о помощи.

Держась с обеих сторон за шест, путники двигали лодку вперед. Она громыхала деревянным днищем по неровной поверхности. Ноги срывались с валунов, засыпанных снегом, и проваливались в глубокие сугробы. Владимир Ильич правой рукой держался за шест, а левой нес рыбацкий фонарь. Потом они спустились с острова и пошли по льду. Глубина воды под ногами была двадцать семь футов.

Темная белизна простиралась вокруг, темно-белым было и небо. Справа в тумане, где-то между небом и землей, мелькал огонек. Бергман вел каким-то извилистым, одному ему известным путем. Каждые двадцать — тридцать шагов он останавливался, издавая возглас: «Я-гха!» — брал из лодки багор с острым наконечником и сильным движением вбивал его впереди лодки, проверяя, насколько прочен лед.

Северный ветер усиливался, стегал по лицу, и в свете фонаря летели космы игольчатого снега.

Прошли не больше двух километров от дома, а силы уже иссякали. Оба вспотели, на бровях и ресницах застыла стеклянная бахрома.

Наступал рассвет — серый и немощный, который, казалось, никогда не разгорится в ясный день.

Перед островком, до глянца отполированным водой и ветром (такие острова лоцманы называют «бараньими лбами»), чернела огромная полынья. Путешественники в первый раз забрались в лодку и веслами, показавшимися очень легкими, в несколько взмахов приткнулись к ледяной кромке. Потом они волоком перетащили лодку через «бараний лоб».

— Теперь надо перебраться на тот остров.— Бергман показал рукавицей прямо перед собой, где в тумане лежало ледяное поле, беспорядочно заваленное торосами и запорошенное снегом.

Двигались медленно, прощупывая ногой каждую пядь.

Стараясь действовать согласованно с движениями Бергмана, Владимир Ильич вглядывался в даль. Скалистые острова возникали перед его глазами, как мираж, и исчезали, затягиваясь льдистой мглой.

Гудки пароходов оповещали, что и в открытом море и на большом фарватере все еще лежит туман.

— Много ли мы прошли? — спросил Владимир Ильич рыбака.

— Самое длинное — позади, самое трудное — впереди,— загадочно ответил Бергман.

Он все чаще останавливался, произнося свое «я-гха», и оно звучало то как тревога, то как вопрос, а то и как яростное ругательство.

Владимир Ильич облюбовал большую плоскую льдину. Он решил перебраться на нее. Но что такое?.. Нога скользнула по ледяной горке и нырнула в воду. Противоположный конец льдины стал быстро подниматься. Владимир Ильич покрепче ухватился за шест и шагнул на соседнюю льдину. Огромная льдина с легкостью поплавка скрылась под водой.

Владимир Ильич взглянул на своего спутника и по остекленевшим от ужаса глазам понял, как велика опасность.

— В лодку, скорее в лодку!

Кто крикнул это? Может быть, рыбаку это почудилось?

Быстро, осторожно, слаженными движениями оба подтянулись к лодке, волоча по зыбким льдинам ноги. Шест скрипел под тяжестью повисших на нем тел. Почему-то вспомнился старый журавль у колодца в Шушенском. Путники одновременно схватились за уключины и рывком перебросились внутрь лодки.

— Са́тана пе́р-р-рекеле! — тяжко выругался Бергман, садясь на банку.

Он вытащил из внутреннего кармана комбинезона трубку и сунул ее в рот. Руки дрожали. Владимир Ильич тоже почувствовал озноб и, не в силах сдержать дробного стука зубов, неожиданно рассмеялся.

— А вода здесь прохладная.

Льдины тихо терлись о лодку.

Бергман развернул большой тюк войлока, привязанный к банке, и вынул оттуда сапоги Владимира Ильича.

Сапоги были совсем теплые, как будто их сняли с печки. Внутри лежали шерстяные носки, засунутые туда заботливой хозяйкой. Рыбак поймал благодарный взгляд профессора и отвел глаза в сторону.

Держа в руках носки, Владимир Ильич спросил, не промок ли Бергман. Нет, он не промок. На нем брезентовый комбинезон с притаченными сапогами.



Владимир Ильич сменил носки и сапоги и стал делать энергичные движения руками, чтобы согреться. Ему вспомнился весенний день прошлого года в Куоккала. Они с Надеждой Константиновной ехали по лесной тропинке на велосипедах. Сделали привал. Надежда Константиновна отбивала такт ногой и весело подбадривала: «Вдох — выдох, вдох — выдох...»

Бергман тем временем извлек из войлока какой-то металлический цилиндр. Осторожно открутил крышку, и из посудины повалил душистый пар горячего кофе.

— Чудесное применение артиллерии,— отозвался Владимир Ильич, с наслаждением отпивая из снарядной гильзы горячий напиток.

Подкрепившись, они взялись за работу. Отталкиваясь баграми от тяжелых и вертких льдин, они подвели лодку к ледяной кромке, опробовали ее крепость, вытащили лодку на лед и снова двинулись в путь.

Теперь уже не более полукилометра отделяло путников от острова Нагу, у которого проходил главный фарватер. Там нужно было дожидаться шведского парохода, идущего из Або на Стокгольм.

Эти сто — двести метров показались самыми трудными. Лодка обледенела и стала вдвое тяжелее, тащить ее приходилось через заросли кустарника. Забрызганная водой одежда покрылась ледяной коркой.

У Владимира Ильича нестерпимо ныли ноги: хромовые сапоги стали тесными.

Ветер сбрасывал на путников вороха колючего инея. Из-под носа лодки выскочил белый заяц с желтоватыми подпалинами, и Владимир Ильич даже ахнул: «Ружьишко бы!» Повел глазами на Бергмана, но не нашел сочувствия у рыбака.

Сквозь деревья блеснула водяная дорога, проложенная ледоколом между островами. Еще немного усилий, и можно будет, сидя в лодке, дожидаться парохода.

Бергман отбил от лодки надстройки — они могут привлечь внимание, да и надобности в них больше нет. Лодку он оставит у знакомого портного Шехольма, а сам вернется домой открытым путем на пароходе через Або.

Туман рассеивался. Гудки пароходов гасли один за другим. Ледяные просторы из серых становились зеленовато-голубыми. Наступил

день. Владимир Ильич и Бергман сидели в лодке и внимательно всматривались в даль, с нетерпением ожидая парохода.

Неожиданно для обоих над деревьями высокого острова заколыхался серый султан дыма. Пароход! Вот он вылезает из-за островов, словно раздвигая их в стороны. На узкой водяной дороге пароход кажется огромным.

Владимир Ильич снял с шеи шарф и принялся энергично им размахивать...

Их заметили.

Колеса парохода взбивали на месте воду, разгоняя плавающие обломки льдин. Вода вокруг закипела белым ключом. С борта спускали шлюпку с матросом.

Владимир Ильич обеими руками сжал руку Бергмана, потом сильным движением привлек его к себе и обнял за плечи.

— Люклиг реза! Люклиг реза![1] — взволнованно шептал рыбак.

* * *

«Что мог делать немецкий ученый в шхерах, да еще зимой?» — качал головой капитан шведского парохода.

Но, собственно, о чем раздумывать? Капитан обязан взять человека на борт в открытом море. И в бортовом журнале была сделана соответствующая запись.

...Владимир Ильич вышел на палубу. На пароходе — обычный рейсовый день. Размалеванный угольной пылью кочегар, высунувшись из люка, с наслаждением глотает холодный свежий воздух. Свою тысячу предобеденных шагов отмеряет на палубе свободный от вахты первый помощник капитана. Матросы закрепляют только что поднятую на борт шлюпку.

До самого горизонта лежат ледяные поля, дует северный ветер, и кажется, что Ботнический залив промерз до дна и существует только эта водяная дорожка, пробитая ледоколом.

Но это не так. Поднявшаяся вода взломала льды, и их ровная белизна обманчива. Никакой ледяной панцирь не может сковать моря, утихомирить его.

---

[1] Счастливого пути! *(швед.)*

Владимир Ильич быстро идет к себе в каюту, раскрывает ученическую тетрадь в синей шершавой обложке, на которой пишут ученики в Абоских шхерах, и дописывает последние строки своей работы: «...периодами временного затишья в массовом действии мы должны воспользоваться, чтобы критически изучить опыт великой революции, проверить его, очистить от шлаков, передать его массам, как руководство для грядущей борьбы».

...Пройдут девять с лишним лет титанического вдохновенного труда, и Владимир Ильич в апреле 1917 года все с той же несокрушимой верой в силу и талант русского рабочего класса возвратится в Россию, чтобы встать во главе революции, преобразующей мир.



СОДЕРЖАНИЕ

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Зоя Ивановна Воскресенская

СКВОЗЬ ЛЕДЯНУЮ МГЛУ

РАССКАЗЫ

ИБ № 5227

Ответственный редактор
С. М. ПОНОМАРЕВА

Художественный редактор
М. Д. СУХОВЦЕВА

Технический редактор
С. Г. МАРКОВИЧ

Корректоры

Э. Н. СИЗОВА и Е. И. ЩЕРБАКОВА

Сдано в набор 27.04.82. Подписано к печати 14.06.83. Формат 60×90¹/₈. Бум. офс. № 1. Шрифт обыкновенный. Печать офсетная. Усл. печ. л. 17. Усл. кр.-отт. 70. Уч.-изд. л. 11,05. Тираж 100 000 экз. Заказ № 855. Цена 1 р. 70 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

Воскресенская З. И.

В76 Сквозь ледяную мглу: Рассказы / Рис. И. Ильинского.— Переизд.— М.: Дет. лит., 1983.— 135 с.

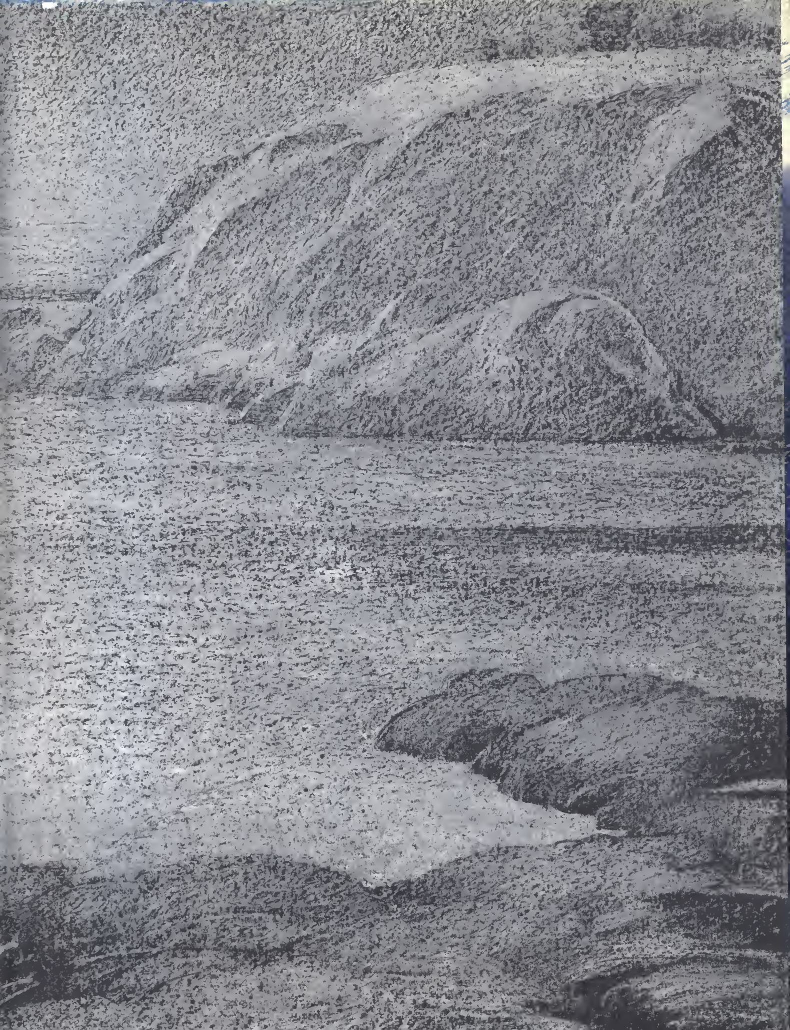
В пер.: 1 р. 70 к.

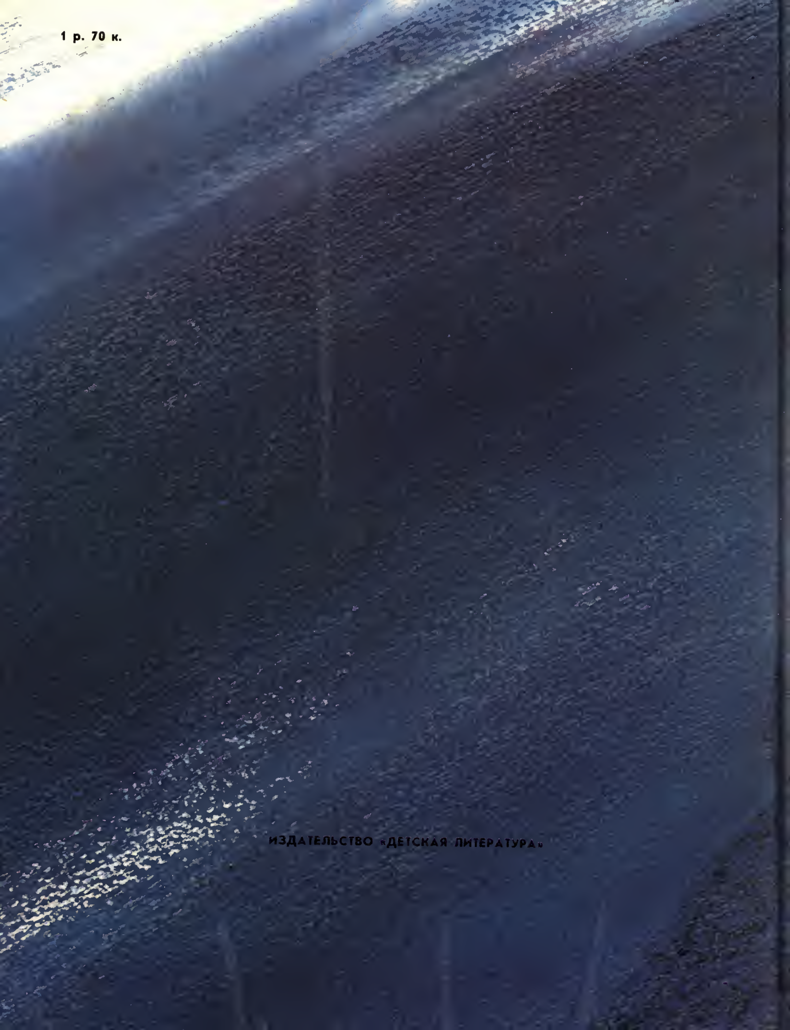
Книга рассказывает о жизни и революционной деятельности Владимира Ильича Ленина и Надежды Константиновны Крупской в годы первой русской революции 1905—1907 года.

В $\frac{4803010101-401}{М101(03)83}$ Без объявл.

ББК 13.5
3К26






1 р. 70 к.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»